

18+

Андрей Шарнопольский

Жизни обратный отсчет

Воспоминания



Аврум Шарнопольский

**Жизни обратный
отсчет. Воспоминания**

«Издательские решения»

Шарнопольский А.

Жизни обратный отсчет. Воспоминания / А. Шарнопольский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-625339-1

Второе издание книги воспоминаний Аврума Шарнопольского.
Печатается по тексту издания 2021 года, с небольшими исправлениями и
дополнениями. Иллюстрация на обложке — «Обратный отсчет», цифровая
живопись с частичным использованием нейросети Kandinsky 2.1, автор —
Анатолий Анимица

ISBN 978-5-00-625339-1

© Шарнопольский А.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Часть 1. Военное лихолетье	9
Глава 1. Война	9
Глава 2. Эвакуация	19
Глава 3. Кермине	32
Глава 4. Школа	42
Глава 5. Военное лихолетье	51
Глава 6. Прошу, пане...	57
Глава 7. Скрипка	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Жизни обратный отсчет

Воспоминания

Аврум Шарнопольский

Анатолий Анимица *Редактор*

Анатолий Анимица *Иллюстратор обложки*

© Аврум Шарнопольский, 2024

ISBN 978-5-0062-5339-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Аврум Шарнопольский

«Воспоминания – это одежды, которые от времени не изнашиваются»
Уоллес Стивенс

Предисловие

Люди, живущие на этой планете, порой не задумываются над тем, что живут рядом с историей, являясь либо ее безмолвными созерцателями, ее комментаторами, или же теми, кто ее делает, может быть, сами того не осознавая. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы с большой долей объективности отнести себя к той или иной категории людей. Мои детские годы пришлось на период войны с фашистской Германией. Этот период оставил в моей памяти самые яркие воспоминания. Существует огромное количество мемуарной литературы, освещающей это время. Казалось бы, что еще можно сказать о войне. Оставили свои воспоминания рядовые и военачальники, политические деятели, директора предприятий, работавших на фронт, ленинградцы, пережившие блокаду, партизаны, узники концлагерей и гетто. Кто только не писал. Историки не случайно отмечают, что военные воспоминания – это наша память, наше достояние, пласт истории, который еще не изучен; наше прошлое и наше будущее. Не познав прошлого, мы не сможем избежать ошибок в будущем. Некоторые из этих воспоминаний, хотя и носят личный характер, содержат важные сведения, которые, подчас, ставят под вопрос официальные версии, связанные с войной. Нашумевший в последние годы своими исследованиями писатель Суворов приводит, в связи с этим, такой пример.

По официальной версии известно, что, когда разразилась война, художник Ираклий Тоидзе в порыве благородного возмущения нарисовал плакат, ставший всемирно известным графическим символом войны: «Родину-мать, зовущую в бой». В некоторых воспоминаниях написано, что этот плакат появился не в первые дни войны, а в первые часы. Например, на улицах Ярославля плакат появился к вечеру 22-го июня, в Саратове – во второй половине дня; в Куйбышеве 22-го июня этот плакат клеили на вагонах воинских эшелонов, которыми была забита железнодорожная станция. В Новосибирске и Хабаровске плакат появился 23-го июня. Что ж из этого? Но если предположить, что самолеты, которые тогда летали со множеством промежуточных посадок, загрузили плакатами 22-го июня и за ночь долетели до Хабаровска, то возникает вопрос, когда эти плакаты печатали. 22 -го июня? Допустим. Когда же, в таком случае, Тоидзе рисовал его. Как ни крути, пишет Суворов, они должны были быть напечатаны до 22-го июня. Откуда же Тоидзе знал о германском нападении, если сам Сталин нападения не ожидал? Загадка истории? В другом воспоминании шла речь о том, что в пакетах с грифом секретности, поступивших в 1940-м году (!), содержались эти самые плакаты Тоидзе «Родина-мать зовет». Вырисовывается следующая картина: заготовили плакаты заранее достаточным тиражом и в секретных пакетах разослали в соответствующие учреждения. Для чего? Суворов делает вывод: готовились к наступательной освободительной войне в Европе, однако Гитлер 22-го июня 1941

г. нанес упреждающий удар. Плакат Тоидзе получился универсальным. Родина мать зовет. А куда, не известно. Поэтому плакат в 1941-м подошел и к оборонной войне. Можно по-разному относиться к выводам, которые делает Суворов. Однако, существование таких воспоминаний – упорный факт. Существуют и другие документы, позволяющие по – иному посмотреть на историю войны с фашистской Германией. Но наиболее проникновенными и волнующими, на мой взгляд, являются воспоминания людей, чье детство выпало на годы войны. Недавно наша организация издала сборник воспоминаний «Опаленное детство». Читая некоторые из детских воспоминаний о том времени, и размышляя над тем, что побудило авторов этих публикаций, в ряде случаев, не обладающих литературным даром, взяться за перо, я понял, что ими движет не тщеславие и не стремление любым способом оставить «след в жизни». Этих людей переполняют чувства пережитого и невысказанного. Ими движет желание оставить для потомков еще одно свидетельство о невероятных трудностях и страданиях, выпавших на их долю, и на долю десятков тысяч их современников. Такие свидетельства

не должны быть забыты. Люди должны чтить память тех, кто страдал и погиб в годы Холокоста, ибо ничем, кроме памяти, их жизнь, их историю не продлить. Чем ценны эти воспоминания? Прежде всего, это ценный исторический материал, в котором сплетаются личные переживания с характеристиками событий военного времени, осмысленными в соответствии с индивидуальностью автора.

Я долго не решался сесть за написание этой книги, хотя моя память и хранит многое из того, что оставило неизгладимый след в моей душе. Подтолкнули меня к этому моя дочь и внуки, которым я в разное время рассказывал о тех или иных эпизодах моего военного детства.

– Даже, если Ты не захочешь издать ее, – говорили они, – пиши для нас и для тех, кто продолжит наш род.

Итак, писать. Как писать, чтобы было интересно и познавательно? Будет ли написанное мною воспринято? Наверное, это зависит от того, что я ощущаю, как «свое я», и способен ли я разделять понятия История и история моей семьи. Есть еще одна проблема. Многие из тех, кто будут читать эту книгу, это люди другого поколения. Они такие же, как и мы, родившиеся 70—90 лет тому назад, в физиологическом смысле. Но они совсем другие по ментальности. Круг их интересов сузился. Они предпочитают не брать в руки книги, а рыскать в Интернете в поисках сенсаций и гламура, благо Интернет позволяет все. Появилось то, чего не было во время нашей молодости, – наркотики и насилие, безразличие и пренебрежение уроками истории. Происходит мутация человека, и, к сожалению, многие этого не замечают. Мы, возможно, были наивными и романтичными, но мы верили в справедливость, верили в себя и в своих друзей, верили в способность общества противостоять злу. Мы гордились нашей историей и нашей национальной культурой. И это, несмотря на все трудности, помогало нам жить и выживать. Современная же молодежь зачастую находится в социальном и бытовом конфликте между собой. Отсутствуют идеалы и лидеры, которым можно было бы подражать, а примеры, которые преподает им жизнь, разочарованность в политиках, государственных структурах и в обществе, в еще большей степени развращают их, и они теряют веру в силу правды и в справедливость. Многие не понимают происходящего и не видят опасности в том, как разрушителен вирус

равнодушия к ненормальностям нашей жизни. Пока что наш народ объединяет опасность, исходящая извне, – отсутствие мира между нами и нашими соседями. Эта опасность усиливает мотивацию молодежи служить в армии, и является мощным стимулом к развитию современных военных технологий. Увы, нами движет инстинкт самосохранения. Но я не могу себе представить, что могло бы произойти с нашим раздробленным по религиозным, политическим и общинным признакам обществом, исчезни эта внешняя опасность. Казалось бы, многовековая история еврейского народа должна была бы нас многому научить. Внутренние раздоры в прошлом уже приводили к трагическим последствиям. Об этом следует помнить. Здравый смысл подсказывает, сохраниться как общность, мы можем не столько верой в бога или в сильную личность, сколько осознанием того, что, лишь усвоив уроки истории, и не в последнюю очередь историю Холокоста, мы можем создать общество адекватных людей, способных построить новый Израиль. Мир Холокоста существует и сейчас; достаточно послушать бредовые высказывания Иранского президента Ахмединиджада. Сегодня Холокост – это уже не только еврейская проблема. Современный Холокост, выраженный через геноцид, расизм и неонацизм, может коснуться любого народа. И остановить эти опасные проявления можно лишь, изучив Холокост и причины, породившие его.

Мне представляется, что наряду с изучением в школах всемирной истории и истории еврейского народа, популяризация и чтение мемуарной литературы, повествующей о Холокосте, литературы, из которой складывается пока что неполная мозаичная картина того ужасного времени, также будут способствовать этой цели. Хотелось бы надеяться, что и мои воспоминания станут маленькой частицей этого мозаичного полотна. Когда я начинал писать эту

книгу, мыслилось, что воспоминания коснутся только детских военных лет. Жизнь, однако, распорядилась по-другому. Сейчас уже ясно, что воспоминаниями будет охвачен период 1941—2011 год.

Часть 1. Военное лихолетье

Глава 1. Война

В это утро я проснулся с боем больших настенных часов, висевших над диваном. Часы и особенно диван, недавно купленные родителями, являлись предметом особой гордости мамы, привыкшей жить в спартанской обстановке многодетной еврейской семьи, где не то что мебель, детская одежда чаще всего не покупалась, а переходила от старших к младшим, соответствующим образом перелицованная и обновленная. Оттого-то, а еще и потому, что с малых лет знала цену заработанным деньгам, радовалась каждой новой покупке, придававшей ей уверенность в дне завтрашнем.

Диван и впрямь был хорош. Красного дерева, обтянутый кожей, не дерматином, не заменителем, а настоящей, мягкой, в цвет дерева тонкой кожей, источавшей какой-то особый аромат; с высокой спинкой, которую венчали продолговатое овальное зеркало, обрамленное резным орнаментом в виде виноградной лозы, и две полочки по бокам, на которых выстроились по ранжиру безучастные ко всему белые фарфоровые слоники. Только однажды мне довелось увидеть, что и забытые всеми слоники могут напомнить, сами того не желая, о своем существовании. Я любил этот диван, любил сидеть на нем, ощущая упругость его пружин и округлость боковых валиков, служивших подушками, считал его своим и не разрешал меньшему брату играть и прыгать на нем. Исключение делалось только для трехлетней сестрички, от которой мы все были без ума, и которая, как и я, предпочитала диван любому стулу и креслу. Она в своем вышитом украинским национальным орнаментом платице органически вписывалась в этот диван, как бы становясь его неотъемлемой частью. В послеполуденное время, когда и брата, и сестричку укладывали в свои кровати спать, я становился единоличным обладателем этого дивана, раскладывал на нем свои книги и рисунки, читал или рисовал. Именно этим и занимался я в тот на всю жизнь запомнившийся день, когда какая-то неведомая могучая сила внезапным рывком выдернула из – под меня диван, и я в мгновение очутился на деревянном полу, странным образом ходившем ходуном, как палуба попавшего в шторм корабля. Возле меня метались, словно ожившие, слоники, безуспешно пытаясь сохранить равновесие на своих, ранее казавшихся мне крепкими, ногах.

Надо мной раскачивался оранжевый абажур с кисточками; слышался звон разбивающейся посуды и треньканье оконных стекол; из-под земли доносился мощный гул, а с улицы – лай собак и мычание коров. Наш добротный каменный дом содрогался от ударов рокошущей стихии. Это было мое первое знакомство с землетрясением, волна которого пронеслась по ряду европейских стран и докатилась до нашего местечка на Винничине.

Под стать дивану были и часы, огромные старинные неизвестно каким образом попавшие к нам. Они властвовали в нашем доме, их маятник шагал взад-вперед, как часовой на посту, их бой был слышен везде, даже в павильоне, где работал мой отец – единственный местечковый фотограф, мастерство которого поражало воображение даже выдавших виды столичных гостей, временами навещавших

нашу семью. Приятель отца – писатель Аронский, писавший на русском и живший в Киеве, говаривал, рассматривая очередной шедевр отца:

– Знаешь, Иоси, у тебя талант выглядывает из каждого твоего снимка. Посмотри-ка на это фото. Ведь это настоящее произведение искусства. Какой ракурс, какая экспрессия! Я по-настоящему завидую тебе. Мои стихи – они что. Через время их никто не станет читать, а меня, скорее всего, забудут. Твои же снимки будут хранить вечно. Их будут передавать из поколения в поколение как исторический документ, в котором запечатлены не только конкретные

люди, но и конкретные события – радостные и грустные, иногда торжественные, иногда обыденные. Жаль, конечно, что сейчас не принято, как это было в прошлом, указывать на фотографиях фамилию человека, сделавших их. Но и без этого они все равно останутся твоими работами, твоим детищем. В будущем наверняка появятся новые возможности, новая аппаратура, новые технологии. Исчезнут такие вот громоздкие деревянные аппараты с мехами и кассеты со стеклянными пластинками. Фотографам не придется действовать таким примитивным образом. Но я уверен в одном – какой бы аппаратурой не пользовались, главным всегда останется мастерство и художественный вкус фотографа, которыми природа тебя, дорогой мой, не обделила.

Отец был начисто лишен честолюбия, но слова приятеля были ему приятны, тем более, что он действительно не был ремесленником, для которого фотографирование лишь способ зарабатывания денег. Он в первую очередь был художником, чье творческое начало, – неважно делал ли он пейзажный снимок, портрет или фото на память, – позволяло ему выразить в них самого себя.

Надо было видеть, как, перед тем, как сделать снимок, всматривался он в лицо человека, словно пытаясь найти в нем то единственное, принадлежащее только ему, что определяло характер этого человека и делало его узнаваемым не только внешне. И он находил это единственное и выделял его легким поворотом или наклоном головы, взглядом, устремленным в какую-то точку пространства или прищуром глаз, улыбкой, едва заметной, прячущейся в морщинках, или, наоборот – широкой и щедрой. Отца никто не учил рисовать, но его карандашные рисунки, акварели и немногочисленные полотна, написанные маслом, выдавали в нем мастера. Его местечковый друг Леонид Сойфертис, ставший впоследствии известным карикатуристом, сотрудничавший с редакциями столичных газет и журналов и отличавшийся своеобразной манерой рисования, предрекал в свое время отцу известность художника. Судьба, однако, распорядилась иначе, и он стал простым фотографом, хотя страсть к рисованию у него осталась надолго. Время от времени брался он за карандаш или кисть и тогда появлялись рисунки и полотна, которые он нигде не выставлял и не развешивал на стенах нашего дома. Единственным исключением были задники в его павильоне, которые он с завидным постоянством менял время от времени, отчего какое-то время в павильоне сохранялся характерный запах грунта и красок. Отец любил также раскрашивать фотопортреты. Делал это он мастерски, создавая в пору отсутствия цветного фото новый жанр портретного искусства. Павильон отца был сделан по его эскизам и рисункам. Это было светлое и просторное помещение со стеклянной ячеистой крышей, выполненной из очищенных от эмульсии пластинок размером 18х24. Эта крыша доставляла отцу немало хлопот: в дождливую погоду, как не

герметизировали стекла, вода просачивалась сквозь щели и тогда в ход шли все ведра, тазы и кастрюли, весело вбравшие в себя дождевые капли; зимой нужно было очищать крышу от снега, и тогда отец проявлял чудеса эквилибристики, балансируя, словно канатоходец, на узкой доске, перемещавшейся по плоской и не очень надежной крыше. Павильон был уставлен разного рода софитами на штативах, экзотическими креслами, стульями и этажерками, использовавшимися как реквизит.

Были там и игрушки, и pedalный детский автомобиль, подаренный мне как-то на день рождения. В первое время этот автомобиль вызывал среди моих сверстников всеобщий ажиотаж. Во время выездов по центральной улице местечка они гурьбой бежали за ним, оглашая окрестности криками, разобраться в которых человеку постороннему было непросто. Так ими выражалось и восхищение автомобилем, и советы водителю, и просьбы прокатиться на нем. Автомобиль был прекрасен: бежевого цвета с хромированными бампером и фарами; оснащенный клаксоном, багажником и открывающимися дверцами, он производил впечатление всамделашнего настоящего лимузина. Со временем, когда интерес к нему поубавился, он был перемещен в павильон отца, который часто фотографировал детей, гордо восседавших в нем

с баранкой в руке. Впрочем, истинной причиной перемещения автомобиля в павильон стала не потеря заинтересованности в нем дворовых ребят и не желание отца использовать автомобиль в качестве реквизита. Скорее – наоборот. Видя, какими глазами мальчишки смотрят на этот автомобиль, отец, сам никогда никому не завидовавший, посчитал неэтичным давать повод детям завидовать материальному благополучию других. Отец с детских лет усвоил простую истину: зависть – греховное чувство, способное довести человека до исступления, а то и до преступления, хотя по сути тот, кто завидует достатку и положению, завидует не человеку, а результатам его труда, воспринимает чей-то успех, как подтверждение собственной ущербности. Отец говорил: не следует сравнивать себя с богатыми, талантливыми и удачливыми, а лишь с теми, кому живется хуже, кто обделен достоинствами и от того, возможно, радуется жизни во всех ее проявлениях.

В павильон можно было попасть как из квартиры, так и с улицы, точнее со двора. К павильону примыкала фотолаборатория – святая святых, где отец проявлял, печатал, ретушировал, изготавливал проявитель и фиксаж, взвешивая на крохотных лабораторных весах составляющие их компоненты. Он не пользовался резиновыми перчатками, отчего кончики его пальцев всегда были коричневыми. Из всех видов технологических операций, продельвавшихся в лаборатории, мне больше всего нравилось таинство печатания фотоснимков, когда при тусклом свете красного фонаря на фотобумаге, переворачиваемой пинцетом в ванночке с проявителем, словно по волшебству появлялось изображение, вначале блеклое, слабое, а затем сочное и контрастное. В эти минуты отец казался мне магом, точно выбирающим момент, когда снимок должен быть извлечен из проявителя и помещен в ванночку с фиксажем.

Отпечатанные снимки отец мокрыми наклеивал на те же стеклянные фотопластинки, очищенные от эмульсии, а когда их не хватало, то и на зеркало, стоящее в павильоне. Пластинки с наклеенными на них снимками обычно ставились поближе к теплу, чтобы ускорить процесс сушки, и они – снимки, будто

радуясь тому, что уже могут послужить людям, ниспадали на пол с характерным шелкающим звуком. Часто в лаборатории отец работал вместе с матерью, которую научил некоторым премудростям фотографирования и обработки фотоматериалов, что очень пригодилось впоследствии уже в годы войны, когда, оставшись после ухода отца в армию одна с тремя детьми, зарабатывала на хлеб фотографированием. Благо был фотоаппарат – единственная вещь, не считая одежды, взятая с собой по настоянию матери в эвакуацию. Считалось, что война продлится недолго, и что уже через несколько недель можно будет вернуться домой, в привычную для себя обстановку, к привычному делу.

Иногда отца приглашали в близлежащие села. Летом за ним присылали телегу, зимой – розвальни. И телега, и сани устилались соломой, а зимой поверх соломы овчиной. В большинстве случаев отец брал меня с собой, и меня до сих пор волнуют запахи соломы, овчины, конского навоза и лошадиного пота. Лежа на соломе, отец рассказывал мне о своем детстве, о старшем брате, которого боготворил, считая его талантливейшим человеком, умевшим все: рисовать, играть на скрипке, плотничать, класть печи. Неизвестно, как сложилась его жизнь в Америке, куда занесла его и все его многочисленное семейство судьба в смутные времена первой мировой войны. Рассказывал отец о своей службе в царской армии, о ранении, которое он получил под Бродами, о своих товарищах, с которыми ставил любительские спектакли в местечке с красивым названием Китайгород, где родились, росли и полюбили друг друга мои родители. Слово Китайгород, которое отец произносил, делая ударение на втором слоге, часто фигурировало в разговорах между родителями. Мне лишь однажды посчастливилось побывать там, и оно запечатлелось в памяти как утопающее в зелени огромных деревьев – лип и акаций, залитое ярким солнечным светом местечко, больше похожее на декорации для пасторального спектакля.

Обычно, поднявшись и умывшись на скорую руку, я бежал в павильон, чтобы удостовериться в том, что красная лампочка над дверью в фотолaborаторию горит, и, стало быть, отец дома, и занят делом, и только затем перемещался на кухню, где всегда можно было перехватить что-либо вкусненькое прежде, чем умчаться на улицу на встречу с приятелями, такими же непоседами и выдумщиками, как я, изобретавшими разного рода игры и забавы. У нас, ребят, действовали неписанные правила, позволявшие участвовать в играх всем, кто того желал. Однако обязательным условием было добровольное исполнение отрицательных ролей (а без этого не обходилась ни одна игра) и корректное отношение к проигравшей стороне. Отрицательными персонажами наших игр в предвоенные годы были испанские и немецкие фашисты, шпионы, а также японские самураи. Нападение фашистов на Советский Союз проигрывалось нами задолго до того, как эта война стала реальностью. Очень популярными были игры сезонные, повторявшиеся многократно. Зимой мы играли в полярников: папанинцев или челюскинцев, строили из снега и льда жилище и теплоход, разыгрывали действо, походившее своим сюжетом на известные события не столь далекого прошлого. Весной, когда талые воды образовывали ручьи, стекавшие в распухшую ото льда реку Сось, начинались гонки выструганных из дерева и оснащенных мачтами с парусами игрушечных кораблей, как правило, заканчивавшиеся гриппом или ангиной, а также взбучкой родителей. К концу лета, когда созревали тыквы, мы тайком

таскали их с огородов, извлекали из них сердцевину, проделывали отверстия, имитирующие глаза, нос и рот, устанавливали внутри зажженную свечу и с наступлением темноты, водрузив тыквы на палки, устраивали шествия, пугая одиноких прохожих. Иногда устанавливали светящуюся тыквенную голову на подоконники опрометчиво оставленных открытыми окон. Особым успехом у нас пользовались разного рода розыгрыши, например, такой: на тротуар (в нашем местечке это был деревянный настил) на видное место клался кошелек с привязанным к нему тонким шнурком, который присыпался песком. Второй конец шнурка находился в руках у одного из нас, прятавшегося в кустах за забором. Там же находились и остальные в ожидании, что приманка клюнет. Как правило, это срабатывало. Прохожий, заметив лежащий на тротуаре кошелек, наклонялся, чтобы подобрать его, и в момент, когда его пальцы почти касались кошелька, тот на глазах изумленного и не успевшего еще обрадоваться находке человека, ускользал за забор. И только тогда, когда из-за кустов раздавались крики и смех, до обалдевшего прохожего «доходило», что он стал очередной жертвой ребячьей проделки. Смеясь и чертыхаясь, прохожий спешно уходил, чтобы уступить это место очередному любителю поживиться случайной находкой. Осенью, когда через все местечко к сахарному заводу сплошной вереницей тянулись подводы, верхом груженные свеклой, мы устраивали состязания в ловкости и сноровке. Нужно было исхитриться и незаметно для возницы снять с движущейся подводы свеклу специально изготовленным для этой цели крюком, похожим на кочергу с заостренным концом. Побеждал, естественно, тот, которому удавалось стащить наибольшее количество корнеплодов. Азарт, с которым мы это проделывали, не без опасения схлопотать батогом, может быть сравним разве что с азартом грибника или рыболова, для которых важен сам «процесс», а не его последствия. В сущности, промысел свеклы был нелеп, так как домой нести эту «добычу» было бессмысленно и опасно. Нам постоянно доставалось и за грязную обувь и одежду, и за воровские наклонности, которые родители усматривали в нашем, как нам казалось, безобидном деле. Вместе с тем, никакие увещевания и наказания не могли отвратить нас от этого занятия, в которое мы постоянно вносили новые элементы состязательности.

Сегодня, в это жаркое июньское воскресенье, меня ожидало нечто большее, нежели игра с приятелями. Еще накануне мама обещала взять меня на реку к запруде, где такое прозаическое занятие, как стирка белья, становилось своеобразным ритуалом, еженедельно устраиваемым местечковыми женщинами в летний период времени. Стирка была и поводом, чтобы пообщаться, посудачить о том, о сем, обменяться новостями, а главное почувствовать себя рас-

крепощенными, сняв, пусть на время, груз домашних забот, насладиться ласковым солнцем, шумом ниспадающей зеркально чистой воды, почувствовать тепло плоских каменных плит у запруды и, не стесняясь, оголить ноги выше колен, заткнув за подол сарафан. Для нас, мальчишек, чье самостоятельное купание в реке было строжайше запрещено, стирка белья предоставляла прекраснейшую возможность общения с рекой, воды которой брали нас в свои ласковые объятия, освежали и успокаивали, принимали наши игры, потакая нам в шалостях и озорстве. Они позволяли нам погружаться на глубину, открывая свой удивительный подводный мир и, словно беспокоясь нашим длительным пребыванием там без воздуха, требовательно выталкивали на

поверхность, где, напевая на ухо незатейливую мелодию, убаюкивали так, как может убаюкивать только любящая мать. Я любил подставлять себя упругим струям водопада, ощущая его мощь и величие, а затем, обессилев от единоборства с ним, оставлял его наедине с собой, играющим своими мускулами. Сам же бросался ничком на мягкую, пахнущую свежестью густую прибрежную траву, словно надеясь вобрать в себя живительную силу земли и энергию солнца, необходимые мне для новой схватки с водопадом.

_. На кухне мама заканчивала готовить завтрак. На столе уже высилась горка свежеспеченных лепешек, на сковороде выжаривались гусиные шкварки, столь любимые мною, рдел, словно устыдившись своей красоты, только что вымытый редис, зеленый лук источал аромат грядок.

– Мам. Так мы идем на реку? – обратился я к маме, перемивавшей клубнику.

– Да, позавтракаем и пойдем. Ты пока приготовь ведра для белья – они стоят в углу коридора. Вынеси их во двор и поставь у корыта с бельем. Белье не трогай. Хорошо, Абрашенька? А я тем временем позову папу и детей к завтраку.

Я очень боялся, что после завтрака за нами увяжется брат и тогда – прости-прощай река, поскольку с ним из-за непредсказуемости его поведения на реке мама не пойдет, а отвратить его от этой затеи, и это доказал опыт прошлого, невозможно. Он все равно будет бежать за нами, рыдая и канюча, будет падать на землю, катаясь в пыли, вызывая жалость и сочувствие у проходящих мимо людей. К счастью, у него в этот день были свои планы, и мы с мамой после завтрака, нагрузившись бельем, двинулись к реке. Запруда встретила нас влажным дыханием реки, рокотом водосброса, плеском стирающегося белья и гомоном переговаривающихся между собой женщин. Мокрые с ног до головы, с прилипшей к телу одеждой, откровенно вырисовывающей их фигуры, они своими движениями походили на дровосеков. Без видимых усилий вскидывали они за спину тугие жгуты намыленного белья и с силой ударяли ими о каменные плиты, едва покрытые водой. Закончив махать, они складывали белье в ведра с тем, чтобы после короткого отдыха, сопровождаемого возобновлением прерванного разговора, вновь вернуться к ведрам, развернуть похожие на паруса простыни и плавными волнообразными движениями прополоскать их в проточной воде. К нам подошла увидевшая нас мама Лелика Бонецкого – тетя Аня.

– Здравствуй, Гителе, – обратилась она к маме, улыбаясь и шутливо встряхивая на нее капли с мокрых рук.

– Ой! – вскрикнула мама, защищаясь от брызг. Здравствуй, Анечка.

– А я тебя с Абрашей увидела, когда вы еще только подходили к реке.

– Ты что, уже соскучилась по мне? – спросила мама, улыбаясь и опуская ведра на землю. По-моему, на прошлой неделе мы виделись.

– Верно. Но я тебе всегда рада, ты знаешь. А потом у нас всегда есть, о чем поговорить, и, кстати, пока ты еще не начала стирать, хотела обсудить с тобой кое- что.

– Что-нибудь серьезное? – поинтересовалась мама. Абраша нам не мешает?

– Да нет, напротив, ему это будет даже интересно, тем более, что разговор пойдет о нем и о Лелике.

– Что они уже натворили? – беспокоилась мама, зная, что мы с ним в последнее время при ее появлении заговорщически замолкали.

– Ничего не случилось, я надеюсь, – усмехнулась тетя Аня.

– Послушай Гителе. Ты знаешь, что этим летом мы всей семьей решили поехать в Одессу на море. Нас пригласили приятели Бори – тоже врачи. У них в Одессе свой дом и дача на берегу моря, которую они отдают в наше распоряжение на целый месяц.

Дядя Боря – отец Лелика, работал зубным врачом, и не было, наверное, в местечке чело- века, не испытывшего на себе действие его бормашины, приводившейся в движение ножной педалью.

– Как ты относишься к тому, чтобы Абраша поехал с нами. Они с Леликом неразлучные друзья, и часа не могут прожить друг без друга. Лелик и слышать не хочет о поездке. А при- чина – в нем, в этом мальчике, которому море тоже не помешает. Ты-то сам как думаешь, Абраша?

Я не ответил и вопросительно посмотрел на маму. В августе, мы уже который год под- ряд ездим в Киев, где живет наша многочисленная родня, как со стороны мамы, так и со сто- роны отца. Мы гостим там поочередно то у одних, то у других. Этот год не должен был быть исключением, и родители уже сообщили в Киев о готовящейся поездке. Я очень любил бывать в Киеве. За последние годы у меня там появились друзья, которые тайком от родителей возили меня по незнакомым мне местам. Со своими двоюродными сестрами мы с братом посещали Днепр, зоопарк, кинотеатр и другие достопримечательности; тетя Люба – жена маминого брата, иногда отпрашивала меня у родителей к себе в киоск на Сенном базаре, где она торговала пивом и другими горячительными напитками на разлив. Сам по себе киоск был мне неинте- ресен, возле него постоянно толпились какие-то неопрятно одетые громко говорящие люди. Но тетю Любу на рынке все знали, и продавцы других магазинов и киосков забирали меня к себе, а уже там можно было найти для себя немало интересного. Тетя Бася, мамина сестра, худая энергичная маленькая женщина, работавшая на кондитерской фабрике, однажды пока- зала мне эту фабрику, поразившую меня своими огромными медными котлами, в которых варилось повидло, непрерывно движущимся конвейером, доставлявшим конфеты в отделение упаковки и, наконец, само отделение упаковки, где работали сплошь женщины, заворачивав- шие конфеты в яркие обертки и наперебой угощавшие ими меня. Все это было исключительно интересно. Но Одесса, море, которое я никогда не видел, – все это, ранее казавшееся очень далеким и сказочным, могло обрести реальность, согласись родители отпустить меня.

Я вновь посмотрел на маму, перевел взгляд на тетю Аню. От меня ждали ответа, хотя ответ напрашивался сам собой. Я почувствовал себя взрослым, от которого требуется одно- значно выразить свое отношение к очень серьезному делу. Мне хотелось крикнуть: Хочу в Одессу! Но что-то удерживало меня от этого. Заметив мою нерешительность, тетя Аня ска- зала:

Мы с твоей мамой все обсудим без тебя. Беги к Лелику, он – вон под той ивой. Лелик лежал на густой сочной траве, еще не успевшей выгореть, подставив свое тело лучам солнца. Казалось, он дремал, но он лишь прикрыл глаза, защищая их от солнца. Я быстро разделся и осторожно, чтобы не поскользнуться на глинистом спуске, сошел в воду, спугнув лягушек, гревшихся на берегу. Поплескавшись вдоволь в теплой воде на мелководье (плавать я тогда еще не умел), вышел на берег и плюхнулся рядом с Леликом, который, заметив мое появления, лениво произнес:

– А, это ты.

– Салют, камарадос! – приветствовал я его по-испански так, как это делали республи- канцы в Испании несколько лет тому назад. Это приветствие было очень популярным, и мы, мальчишки, им часто пользовались.

– Как вода? – спросил Лелик, позевывая.

- Ты что, еще не купался? – удивился я. – Ты ведь здесь давно.
- А откуда ты знаешь?
- Так твоя мама уже почти все перестирала; мы видели ее и разговаривали с ней.
- О чем? – поинтересовался Лелик.
- А то ты не знаешь – упрекнул я его.
- Откуда мне знать, я же там не был.
- «Откуда мне знать» – передразнил я его. – Сам заварил кашу, а теперь делает вид, будто не знает, о чем речь. О поездке в Одессу, конечно!
- А! – оживился Лелик, вскакивая на ноги. Ну, так что, едем вместе?
- Какой ты быстрый, – охладил я его пыл. Мама сама без папы не решится отпустить меня с Вами.
- Но ты-то сам как – хочешь?
- Спрашиваешь! Здорово! – воскликнул Лелик. Просто здорово! Мы с тобой там научимся плавать. Папа сказал мне, что на море легче научиться, море само тебя держит на воде.
- Как это? – удивился я.
- Очень просто. Вода в море соленая, – начал объяснять мне Лелик и вдруг умолк, словно вспомнив что-то. Да! В Одессе есть порт и туда приплывают большие корабли. Надо сказать, что Лелик в разговоре часто перескакивал с одной темы на другую. Иногда трудно было понять ход его мыслей, когда, не закончив одну фразу, он начинал другую без всякой связи с предыдущей. Лелик был очень похож на своего отца. Смуглый, черноглазый, словоохотливый, он, как и его отец, в ходе разговора смотрел не на собеседника, а куда-то в сторону.
- Папа обещал мне, – продолжал Лелик, – покатасть нас на корабле. Его друг в Одессе – капитан большого корабля. Он покажет нам весь корабль, все его помещения, капитанский мостик, трюм и машинное отделение. Дядя Витя обещал в письме, что научит меня управлять кораблем. Я буду рулить, и командовать: полный вперед! Полный назад! Стоп машина! И матросы будут выполнять все мои команды, понял? – хвастался Лелик. Я был сражен его эрудицией и знанием морских команд и терминов.
- А что, – поинтересовался я, – на корабле есть руль, как на автомобиле?
- а как же! – с жаром ответил Лелик. Руль – это главное, что есть в руках капитана, им он и управляет кораблем.
- А как? – не унимался я.
- В автомобиле руль управляет колесами. – Я это знал точно, поскольку свой педальный автомобиль изучил досконально.
- На корабле колес нет, так чем же он управляет? Лелик задумался, видимо не зная, как ответить.
- Раз на корабле есть руль, значит, он чем-то управляет, – резонно рассудил мой друг. Я не хотел препираться и потому спросил его:
- А дядя Витя, он капитан военного корабля?
- Нет, он не военный, но в Одессе можно увидеть и военные корабли и даже подлодку. А еще мне сказал папа, что в Одесский порт заходят и иностранные корабли. Я никогда не видел кораблей, военных тем более, и потому, когда Лелик умолк, я нарисовал в своем воображении Одессу, корабли; живо представил себя стоящим рядом с дядей Витей, зорко всматривающимся в морскую даль и отдающим команды матросам. Лелик молчал, тоже думая о чем-то своем, а я продолжал рисовать одну картину за другой, видя себя то на подводной лодке, то на мачте корабля, то плывущим в море навстречу волне. Занятый своими мыслями, я не заметил подошедшую к нам вечно улыбающуюся тетю Аню. Я уже решил, было, что она обрадует нас долгожданным известием о моей поездке, но она просто взяла Лелика за руку и увела его с собой, ничего мне, не сказав на прощание.

– Солнце было в зените, когда мама закончила стирку, а я успел еще несколько раз окунуться в воду, прежде, чем, собрав выстиранное белье, мы медленно поднялись на запруду по дороге домой. Необычную картину застали мы на улицах местечка: обычно пустынные в эту пору дня, они были заполнены группировавшимися в кучки людьми, что-то озабоченно обсуждавшими; их лица были серьезны и сумрачны, на них словно налегла какая-то тень. Разговаривали они между собой тихо, без обычной жестикуляции; удивляло отсутствие на улицах детей. Это было странно, и мама, почуяв неладное, заспешила домой, не замечая тяжести ведер с бельем.

Дома, уже в прихожей были слышны мужские взволнованные голоса, доносившиеся из столовой. В этот день мы не ждали гостей, и потому их присутствие в обеденное время могло означать, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Уже потом вечером, мама признавалась отцу, что еще на улице у нее возникли дурные предчувствия, которые не оставляли ее на всем протяжении пути. Ей вспомнился 37-ой год. Тогда тоже на улицах можно было увидеть группы людей, обсуждавшие шепотом страшные новости об арестах в местечке. В том году арестовали и отца. Моя детская память запечатлела на всю жизнь тот поздний дождливый вечер, когда трое в штатском, произвели в квартире обыск и увели с собой растерянного отца, который так и не нашел, что сказать маме, стоявшей у стены с каменным лицом, с которого, казалось, сошла кровь. Беременная, она крепко прижимала меня к своему упругому животу, больно впившись в мои худые плечи, словно опасаясь, что у нее отберут и меня. В тот вечер я не видел ее плачущей, плакала она, когда увозили отца и еще двух арестантов из нашего местечка в Винницкую тюрьму. Не знаю, каким образом мама узнала день и время их отправления. Арестованные сидели в кузове грузовика, спиной к кабине низко опустив головы с надвинутыми на лоб кепками; их колени упирались в колени милиционеров, вооруженных винтовками. Лиц арестованных не было видно, но отца мы узнали, и сердце мое защемило – таким согбенным я не видел его никогда ни до, ни после ареста. Был и радостный день возвращения, которого мы ждали и в который верили, несмотря на то, что мало кто из наших друзей верил в такую возможность. Оттуда, – говорили они, – не возвращаются. Отец не любил рассказывать, о том, что тогда произошло. Лишь спустя много лет я узнал, что арестовали его по навету; в ходе следствия пытались склонить его к даче ложных показаний на известных людей, бывших в 20-х годах в отряде самообороны, организованном с целью защиты населения Китайгорода от многочисленных банд,

грабивших и убивавших еврейские семьи. У отца было военное прошлое: в первую мировую войну он солдатом воевал с немцами, был ранен, удостоился Георгиевского креста, что для еврея было большой редкостью. Его военный опыт и помог ему создать отряд самообороны. Оружие в то время можно купить дешево; он обучил пару десятков парней владению винтовками и пистолетами, организовал патрульную службу, и когда ничего не подозревающие бандиты делали попытки войти в местечко, они натыкались на хорошо организованную оборону. Позднее арсенал отряда самообороны пополнился еще и пулеметом, что укрепило уверенность бойцов в их силе.

В тюрьме отца запугивали, били по пяткам бутылками, но он не сломался. Ему и его друзьям, ставшим впоследствии партийными деятелями высокого ранга, инкриминировали т.н. контрреволюционную деятельность, проявившуюся будто бы в вооруженном сопротивлении отрядам Красной Армии. Возможно оттого, что обвинение было бездоказательным, а еще и потому, что за отца заступились его могущественные друзья, спустя три месяца после ареста он был освобожден. В день его возвращения в нашем доме, как и сейчас, собрались люди, близко знавшие нас, а отец – худой с впалыми щеками, небритый скупно отвечал на их вопросы, стараясь обойти щекотливые темы, о неразглашении которых с него была взята подписка перед освобождением. Еще долго не мог отец отойти от пережитого, он бросил курить и отдал мне свой портсигар из карельской березы, который я приспособил для хранения первой в своей

жизни коллекции – кадров киноплёнки из известных в те времена кинофильмов, которые присылала из Киева моя двоюродная сестра, работавшая киномехаником. Некоторые из моих друзей коллекционировали марки, конфетные обертки, гербарии, но такой коллекции, как у меня, не было ни у кого, чем я немало гордился.

Когда мы с мамой зашли в столовую, голоса на миг смолкли. Я растерялся, увидев так много людей, едва разместившихся у нас. Из них я знал лишь дядю Борю – отца Лелика, портного, шившего мне в свое время костюм, в котором я был запечатлен на фотографии, сохранившейся до настоящего времени и учителя музыки, обучавшего меня игре на скрипке. Было еще несколько не знакомых мне людей: клубный работник, директор канато-вязального кооператива, коренастый медлительный мужчина с бычьей шеей и провизор, распространявшего вокруг себя специфические аптечные запахи. Мама с вымученной улыбкой поздоровалась со всеми, и хотела – было уйти на кухню, чтобы приготовить чай для гостей, но отец остановил ее.

– Что случилось? – поинтересовалась мама, оглядывая всех.

– Война, мадам, – ответил кто-то глухим голосом, и мама схватилась за спинку стула, чтоб не упасть.

– Не стоит волноваться, Гителе, – поспешил ее успокоить дядя Боря. Я думаю, что это ненадолго. Скорее всего, это какая – то провокация, о которой предупреждал Сталин.

– Какая провокация! – возмутился директор кооператива, и от его голоса закачалась люстра. Молотов сегодня по радио ясно сказал – война; война, вероломно начатая немцами. А ты, Борис, твердишь о какой-то провокации.

– Все равно, не унимался дядя Боря, – если это даже война, то не пройдет и двух недель, как она будет закончена. У нас самая сильная армия мира; и немцы не

могут это не учитывать. Кроме того, сложно вести войну одновременно и с Англией, и с нами. По-видимому, они хотят предупредить возможный союз СССР и Англии. Гитлер совершил самую крупную в своей политике ошибку, за которую он дорого заплатит. А немцев мы всегда били! – патетически закончил он.

– Кто это «мы»? – язвительно спросил провизор. Уж не ты ли Борис? Так насколько я знаю, ты в своих руках, кроме поганных щипцов, которыми калечишь нас, никакого оружия не держал.

– Ну почему же «калечишь» и почему «щипцы поганные», обиделся дядя Боря. Вот зуб твой, который я удалил на прошлой неделе, он действительно был поганный. А то, что немцев мы всегда били – это исторический факт. Поверьте – они скоро поймут, в какое дерьмо влипли. Что такое дерьмо, я не знал, но живо представил себе огромную лужу дымящейся смолы, в которой застревают сапоги немецких солдат.

– Я одного не понимаю, – вступил в разговор учитель музыки – мы ведь заключили с ними совсем недавно пакт о ненападении, действует торговое соглашение. Я на днях был в Липовцах и видел, как на запад идут один за другим эшелоны с углем и еще с чем-то.

– Вот это-то и удивительно, – поднялся провизор. Война не может быть внезапной, и подготовка к ней не может оставаться незамеченной. Наша разведка не зря ест свой хлеб, – я надеюсь. Если бы немцы готовились к войне, товарищ Сталин знал бы об этом.

– Но ведь Молотов ясно сказал, что немцы внезапно, вне-зап-но! напали, – зарокотал директор кооператива, не вынимая изо рта незажженную папиросу Казбек. Это может лишь означать, что им удалось сбить с толку и нашу разведку. Разве это исключено?

– Да, – вмешался отец, – товарищу Молотову, конечно, видней, но я твердо знаю, что прозевать начало войны может лишь тот, кто близорук и не замечает того, что делается у него под носом, либо тот, кто не хочет это замечать.

– Как ты можешь такое говорить, Иоси, – перешел на шепот дядя Боря и впервые посмотрел прямо в лицо отца. Ты вообще-то понимаешь, что ты говоришь! Если бы я не знал тебя, подумал бы ..., замялся он.

– Но ты ведь меня знаешь, – усмехнулся отец. Ладно. Не нам и не сейчас давать оценку действиям нашего правительства. Давайте думать о том, что сейчас делать нам в этой ситуации, от границы нас отделяет не такое уж большое расстояние.

– Иосиф, ты думаешь, они дойдут до наших мест? – спросил один из сидевших до этого молча мужчин.

– Ну вы как дети малые, – возбудился отец. Гитлер занял за короткое время Польшу, Австрию и Чехословакию, воюет с Англией, вооружен до зубов самым современным оружием; промышленность Германии поставлена на военные рельсы; немцы хорошо подготовлены к войне и воевать умеют – это я вам говорю, исходя из собственного опыта. Исключать возможность того, что они дойдут и до нас, я не могу.

– А я не верю в это, – продолжал упорствовать дядя Боря. – Мы им скоро обломаем рога. Красная Армия хорошо подготовлена к войне, мы сильнее немцев.

– Хорошо, – сильно картавя, произнес кто-то. – Хорошо. Положим, они дойдут до нас, предположим, что через день – два станет ясно, что они таки да дойдут до Ильинцев. Что делать? Оставаться или уезжать?

– Уезжать! – вновь прорычал директор кооператива. Чего раздумывать, уезжать немедленно. От немцев нам ничего хорошего ожидать не приходится.

– Что ты такое говоришь, – заволновался провизор, – как это уезжать! Куда уезжать? Оставить дом, бебехи, свое дело, ехать в неизвестность, начинать все сначала? Он помолчал немного, вытер лоб платком и продолжал. – Даже если это, не дай бог, случится и они займут Ильинцы, что нам может угрожать? Мы ничего плохого им не сделали; провизоры, фотографии и зубные врачи им тоже нужны. О портных и сапожниках я уже не говорю, – они нужны любой власти. Кроме того, – он оглядел присутствующих и поднял вверх большой палец, словно призывая бога в свидетели, – немцы – культурная и образованная нация; в Германии и при Гитлере евреи живут. Что же нам волноваться, не думаю, что они способны причинить нам зло.

– Короче, – отец поднялся со стула, – ты предлагаешь не трогаться с места. Так? Ты уверен, что это единственно правильное решение?

– А ты предлагаешь что-то другое, – повернулся к отцу дядя Боря, – я лично согласен с ним, кивнул он на провизора. Мне нечего бояться – я врач, а врачи нужны всем. Зубы болят даже у фашистов. С немцами я не воевал, как некоторые, так что, если дело дойдет до принятия решения, а это станет ясным, я думаю, дней через десять – пятнадцать, я, видимо, останусь. Войну переждем здесь, в своем доме.

Все замолчали, обдумывая услышанное. Отец, продолжавший стоять, опустил голову и невесело сказал:

– А я, признаться, не знаю, что делать. Нелегко решиться на отъезд, а оставаться? ... Кто знает, что с нами будет.

– Вы как хотите, – сверкнул глазами директор кооператива, – я здесь ни за что не останусь. Сегодня же начну собираться и советую это сделать всем вам, пока не поздно, пока еще есть возможность уехать. Вот когда все хлынут на вокзал, тогда отъезд может превратиться в серьезную проблему.

– Он поднялся, закурил свою папиросу и, попрощавшись кивком головы, вышел. Вслед за ним потянулись и остальные. Я стоял огорошенный всем увиденным и услышанным; война еще никогда так близко не дышала мне в лицо. Об Одессе надо было забыть.

Глава 2. Эвакуация

Скоро, очень скоро, в считанные дни, война опалит нас бомбежками, пожарами и обстрелами, закружит в своем смертельном хороводе, норовя повергнуть и перемолоть в своих жерновах. А пока... Пока родители в смятении решают не простой вопрос – что делать. Им нельзя ошибиться в выборе решения, ибо цена ошибки – человеческие жизни, – их собственные и жизни их детей. Однако в эти первые дни войны никто еще не знает, да и не может знать, истинную цену такой ошибки; не знает и не может знать, какая страшная судьба уготована тем, кто останется в оккупированном немцами местечке, не знает и не может знать, какие страдания выпадут и на долю тех, кто решится на эвакуацию. Кто даст дельный совет, к кому обратиться? Но в делах такого рода нет авторитетов, рекомендациям которых можно было бы довериться. Никогда еще жизнь не ставила родителей в столь трудное положение, когда разноголосица во мнениях окружающих, боязнь неизвестности, нехватка нужной и достоверной информации о положении дел, растерянность властей и их безразличие к судьбе еврейского населения, тех самых властей, которым это население привыкло доверяться во всем, – все это вынуждало родителей в мучительном поиске выхода из создавшегося положения полагаться исключительно на свою интуицию. И пока родители пребывают в состоянии крайней обеспокоенности, пока взвешивают все ЗА и ПРОТИВ, мы, дети, предоставленные самим себе, впервые осознаем, что такое свобода, ощущаем неумную радость оттого, что можем безоглядно делать, все, что угодно. Пока еще для нас война – это некая игра, возможности которой захватывают дух.

Витька кривой, потерявший глаз в драке с босяками из Замостья, прибежал ко мне взъерошенный и прокричал хриплым голосом:

- Айда до церкви, там уже уси наши хлопцы.
- А чего я там не бачив, – в тон ему сказал я.
- Тю! Так церкву – ж видчинылы. Я навить до горы лазыв.
- А що, можно? -недоверчиво спросил я, застегивая сандалии.
- Побожись.

– Кажу – ж тоби, шо вже був там. Давай швидше! Витька махнул рукой и исчез, оставив после себя следы на свежeweымытом полу.

Церковь, единственная, не считая сахарного завода, достопримечательность местечка, была окружена ореолом таинственности. Рассказывали о смерти от неизвестной болезни тех, кто в свое время сбрасывал со звонницы колокола и рушил иконы. Взрослые пугали нас, детей, легендами о привидениях, якобы обитающих в ней; находились свидетели, слышавшие в церкви какие-то странные звуки, похожие то ли на вздохи, то ли на стоны и видели в сумерках амвона фигуру священника – отца Федора, убитого анархистами за отказ снять с себя золотом вышитую ризу, видимо понравившуюся анархисту. Отца Федора в местечке уважали. Он был образованным и добрым человеком, помогавшим евреям в трудные для них времена. Церковь почти всегда была заперта. Исключение составляли случаи, когда ее использовали в качестве зернохранилища. Тогда церковные ворота открывались, и в нее можно было проскользнуть незамеченным.

Но меня пугало это сумеречное помещение, это пустующее пространство с его затхлостью, паутиной и гулким эхом; я ни разу не предпринимал попытки войти в него, хотя оно манило, обещая приоткрыть свои тайны. Я забежал за Леликом, и мы вместе помчались к церкви. Ее ворота действительно были распахнуты настежь, изнутри раздавались звонкие детские голоса. Нас поманил рукой Витька, стоявший у двери, приоткрывавшей вход на винтовую лестницу, и мы гуськом, гулко стуча обувью по ребристым металлическим ступенькам, взобрались на колокольню, откуда открывался вид на местечко и его окрестности. На такой

высоте было страшно, но захватывающе. Дома казались игрушечными, узкая лента Соби, блестя на солнце, петляла, распрямлялась и исчезала в лесных зарослях, конца и края, которым, казалось, не было конца. Обозрев окрестности местечка, мы спустились вниз в подвальное помещение. У Витьки оказались спички, которыми он высвечивал путь. Неожиданно перед нами оказалась тяжелая металлическая дверь, открыть которую удалось лишь совместными усилиями. В ход снова пошли спички, тусклый свет которых выхватил стоящие у стены деревянные сундуки, оббитые медью. Открыть один из них не составило большого труда. В лицо нам пахло плесенью. Я брезгливо попятился назад, Витька же, перегнувшись чуть не вдвое, стал копать в его внутренностях и, вот удача, извлек из сундука какой-то сверток, перетянутый бечевой и свечи, одну из которых мы тотчас же зажгли. Развязав бечеву и развернув сверток, Витька истошно закричал: Гроши! Но бумаги, которые Витька ошибочно принял за деньги, оказались какими-то бланками; были в свертке и гербовые марки царской России. Обманутый в своих лучших надеждах, Витька зашвырнул сверток в угол кладовой, и марки, словно конфетти, вспорхнули и укрыли собой каменные плиты пола. Остальные сундуки оказались пустыми. Мы поднялись наверх, и вышли из церкви. Я был разочарован – никаких тайн и привидений, о которых ходила молва, никаких интересных находок. В последующие дни мы продолжили поиски потайных подземных ходов и помещений, однако, не обнаружив ничего существенного, потеряли к этим занятиям интерес. Вскоре на колокольне был оборудован наблюдательный пункт, где поочередно дежурили какие-то люди с биноклями, вход в церковь преграждал дежурный с противогазом через плечо. Лелик поинтересовался у отца, с какой целью в церкви организовано дежурство, на что получил ответ – церковь стала стратегическим объектом. Что это такое, мы не знали, но предположили, что на колокольне, скорее всего, установят пулемет, как в одном из фильмов о борьбе с колчаковцами. Шли дни. Началась мобилизация и отправка на железнодорожную станцию призванных в армию людей. Отец тоже был вызван в военкомат. Но из-за ранений, полученных им в первой мировой войне, от призыва был освобожден. Явившийся по повестке на призывный пункт со своим неизменным саквояжем отец Лелика, был по каким-то причинам отпущен с предупреждением о необходимости срочно сдать купленный им год назад ламповый радиоприемник, единственный в Ильинцах. У отца стало значительно меньше работы, и он подолгу гулял с нами в церковном саду и мастерила для нас разные игрушки. В саду росли фруктовые деревья, грецкий орех, бузина. Отец срезал ровный гладкий полый прутик бузины, делал с одного конца косой срез, а по длине прута круглые отверстия, раскатывал пруток в своих крепких ладонях. Затем аккуратно снимал как чулок тонкую и податливую кожицу коры;

обрабатывал оголившуюся часть прута, делая в нем необходимые надрезы, а затем вновь одевал на прут «чулочек» коры. В результате получалась свирель, из которой отец извлекал незатейливые мелодии. Показав, таким образом, возможности свирели, отец отдавал ее мне или брату. Дома отец усаживался под черной тарелкой репродуктора, и чем больше он слушал сообщения информбюро, тем больше лицо его мрачнело; обычно после этого он уходил к своим друзьям, где вновь и вновь обсуждалась невеселая тема войны.

Местечко готовилось к бомбежкам. Райсовет распорядился привести в порядок погреба, укрепить их и сделать в них запасы воды и продовольствия. Я помог маме заклеить окна полосками газетной бумаги. В доме была сделана перестановка мебели: кровати, стоявшие у окон, были перемещены к внутренним стенам. Уехал председатель кооператива с семьей, его дочь забежала к нам перед отъездом попрощаться и подарила мне набор цветных карандашей в картонной коробке. К отъезду готовилось еще несколько семей, однако большая часть еврейского населения, обремененная детьми, стариками, инвалидами и больными, не решалась на радикальные перемены в своей жизни. Мама, всецело полагавшаяся на отца, страдала, видя его метания и нерешительность, все чаще я заставлял ее плачущей укладкой. От отца, видимо, тоже не могло укрыться настроение мамы и он, как мог, успокаивал ее, хотя у него самого на душе

скребли кошки. Решение отец принял после того, как через местечко потянулись беженцы на подводах, груженных нехитрым скарбом, и стада ревущих коров, сопровождаемых конными и пешими пастухами. В один из таких дней у нашего дома остановилась повозка, и шесть усталых женщин, ехавших на ней, попросили у родителей разрешения напоить лошадей. Мама пригласила женщин в дом, нагрела воду, заставила их обмыться и усадила за стол, накормив собранным на скорую руку обедом, оказавшимся первой нормальной горячей пищей за последние несколько дней их странствий. Они рассказали о своих мытарствах. Их, артисток Львовской филармонии, образовавших капеллу бандуристок, война застала на винничине, где они гастролировали, разъезжая на выделенном для них автобусе по городам, местечкам и селам. В первые же дни войны автобус у них был отнят, и ценой невероятных усилий под расписку им посчастливилось получить повозку и лошадей. Все их попытки вернуться во Львов к своим семьям не увенчались успехом – немцы уже заняли Львов, и фронт стремительно продвигался на восток. В Виннице от них отмахнулись и сейчас они шли вместе с беженцами, не зная куда, не имея еды и теплой одежды. Прежде, чем покинуть наш дом, они достали из футляров бандуры и многоголосый строй их голосов – сильных и чистых заполнил наш дом. Они пели украинские песни, пели в полголоса, на их лицах блуждали улыбки, словно не было утомительной дороги и грустных мыслей. Только тогда, когда зазвучала песня «Думы мои, думы мои, льхо мени з вами», на их лица легла тревога и печаль, передававшаяся и мне. Казалось бы, что мог я, мальчик, не знавший забот и тревог, опекаемый родителями, отгороженный от житейских проблем, чувствовать, глядя на этих несчастных женщин, оторванных от своих семей. Я возвращался в своих мыслях к их нелегкой судьбе, а их музыка еще долго-долго преследовала меня, не позволяя забыть этот неповторимый день.

Вслед за беженцами через местечко потянулись отступающие войска. Казалось, все местечко высыпало на обочину дороги, по которой проходили солдаты в

запыленных и выгоревших гимнастерках, кто с оружием, а кто и без. Проехали санитарные машины с огромными красными крестами на боках, несколько орудий на конной тяге и какие-то необычной формы машины, похожие на автобусы без окон и с козырьками над кабинами водителей. Одна из таких колонн остановилась на площади у техникума, полностью заполнив ее и прилегающие к ней улицы. Жители местечка, доселе безмолвно наблюдавшие за прохождением колонны, бросились к своим домам, с тем, чтобы сразу вернуться кто с ведром воды, кто с кастрюлей супа, кто с куском курицы. Солдаты ели молча и торопливо, словно боясь, что не успеют закончить до того, как прозвучит команда «подъем!». Женщины жалостливо смотрели на оголодавших небритых и усталых парней и мужиков, то у одной, то у другой группы солдат, сидевших на земле, завязывались разговоры, и они, охотно отвечавшие на житейские вопросы, замолкали, как только речь заходила о немцах и нашем отступлении. Видимо они – эти солдаты, познавшие горечь поражения в первых схватках с немцами, превосходившими их в вооружении, напористости и боевом духе, сами для себя не могли найти объяснение тому, что случилось. Не могли поверить в то, что это они – солдаты самой сильной и непобедимой армии мира, воспитанные на уверенности в том, что, в случае войны, будут бить врага на чужой территории, сейчас отступают, якобы выравнивая фронт, и уступая фашистам уже не пяди, а километры, десятки километров своей территории. Им было стыдно перед людьми, которых они оставляли на произвол судьбы, не имея возможности ни защитить, ни увести с собой. Они понимали, что эти люди ждут от них слова утешения и надежды, уверения в том, что скоро вернуться, что им, этим людям, нечего опасаться, ибо с гражданским населением не воюют. Но они были не вправе говорить эти слова, не только потому, что это было бы неправдой, но еще и потому, что сами не знали, как сложатся их собственные судьбы и судьбы близких им людей, также оставшихся на западе.

Нам, мальчикам, было не до этих разговоров, смысл и значение которых мы не понимали. Нас интересовала военная техника – орудия, винтовки, стрелковые пулеметы и странные

машины, виденные нами разве что в кинофильмах. Здесь же они были рядом, их можно было потрогать; никто не мешал нам взбираться на лафеты орудий и заглядывать в стволы, подниматься на подножки и даже в кабинки автомашин. Мы разглядывали ружья, с которыми солдаты не расставались даже во время еды, станковые пулеметы на военных повозках необычно строгих форм с ящиками вместо сидений. Заметив, что несколько мужчин, в том числе и мой отец, сгруппировались вокруг командира с тремя кубами в петлицах и в фуражке с красным околышком, я приблизился к ним. Мужчины – местечковые жители, слушали командира, согласно кивая головами. Один из них спросил:

– Так что же это все-таки получается. Вы отступаете, а за вами еще остались войска, или не сегодня-завтра здесь окажутся немцы? Поймите, товарищ командир, нам это важно знать. Никто, ни райком, ни райсовет, не говорит нам: оставайтесь или уезжайте.

А може воны сами не знают, що робыты, – перебил говорившего другой – высокий в полотняной белой рубахе на выпуск, подпоясанный тонким ремешком.

Може воны сами не мають ниякаких указивок. Що, не може буты? Очень даже може буты.

– Возможно, – согласился первый и повернулся к командиру.

– Так что скажете, товарищ

– Что я могу сказать, – вздохнул командир и достал папиросу.

– Мы не отступаем, а выравниваем фронт. Во всяком случае, нам так объясняют. Что касается того, остались ли там, на западе наши войска, – остались. Они прикрывают наш отход. Захватят немцы ваш город или нет, я не знаю. Советовать вам что-либо не могу – не уполномочен, так что обращайтесь за советом в местные органы власти. Кстати, у вас здесь есть военкомат? Здесь, что, не прошла мобилизация? Голос командира посуровел, и он обвел взглядом стоящих перед ним мужчин.

Я вижу среди вас еще не старых людей, способных держать оружие.

«Военкомат у нас есть, и мобилизация прошла», – сказал отец, стоявший до этого молча

– А те, кого вы видите перед собой, они либо не призваны по разным причинам, либо вечером будут отправлены на сборный пункт. Но я хочу вас все же спросить, – продолжал отец, глядя командиру в лицо. Хочу спросить, не как у военного, а как у человека, разбирающегося в текущем моменте. Вот если бы вы были на моем месте, и если бы здесь находилась ваша семья, чтобы вы сделали – остались? Только откровенно. Скажу вам, – у меня жена и трое детей – младшей три годика. Я для себя, правда, все решил, но хочу получить подтверждение правильности своего решения. Еще одно, учтите я – еврей, и большинство людей, находящихся здесь на площади, тоже евреи. Слышал, что немцы у себя евреев не очень жалуют.

Да, – сказал командир, – и, помолчав немного, продолжил.

Мне не нужно быть на вашем месте, мне и на своем «хорошо». Вы еще не знаете, что немцы делают с семьями командиров- коммунистов. Моя семья, – он глубоко затянулся папиросой, – не знаю, что с ней. Скорее всего, ей не удалось эвакуироваться, но, если бы я был с ними, сделал бы все, чтобы они уехали. Вот вам мой ответ, вы ведь это хотели услышать.

Да, спасибо, – коротко бросил отец и взял меня за руку, собираясь уходить.

Постойте, – остановил его командир и, обращаясь к остальным, сказал по- военному тоном приказа:

Вы свободны. Можете идти.

Отец удивленно посмотрел на командира, который, выждав пока уйдут остальные, вполголоса произнес то ли спрашивая, то ли утверждая:

– Судя по вашей выправке, вы служили в армии, и, может быть, даже воевали.

– Да, – подтвердил отец, – в 14-ом с немцами, а потом с бандитами.

– А почему сейчас не в армии?

Отец вместо ответа расстегнул ворот рубашки, обнажив шрам на ключице, след от ранения.

Понятно, – сказал командир, и, положив свою ладонь мне на голову, продолжал:

– Если можете, уезжайте и немедленно, иначе будет поздно. На железной дороге творится что-то невообразимое, могут возникнуть трудности. Вы мне симпатичны и я хочу помочь вам. Я напишу записку начальнику станции Липовец. Вы ведь только оттуда можете уехать? Надеюсь, она вам поможет.

Он расстегнул свой планшет, достал блокнот, быстро написал что-то и протянул бумагу отцу.

И еще вот что. Скажите тем, кто намерен здесь остаться, и кто может держать оружие в руках. Их спасение в отрядах партизан. Есть указание организовывать такие отряды и базы в лесах. Не знаю, кто у вас этим занимается и занимается ли вообще. Пусть обратятся в райком партии. Вам, надеюсь, не нужно объяснять, что говорить об этом можно лишь с теми, кому вы доверяете. Я, к сожалению, в райкоме никого не застал, где они и чем занимаются Ждать их не могу. Через несколько минут покинем Ильинцы.

Он потрепал мои волосы и сказал, улыбаясь:

– У меня пацан, такой же, как ты, – Сережка. Ну, желаю здравствовать!

Он поднес руку к козырьку и, круто повернувшись, пошел назад на площадь. Мы заспешили домой.

В этот же вечер начались приготовления к отъезду. Отец достал из кладовой чемоданы, с которыми мы по – обыкновению ездили в Киев, а мама, засев за швейную машинку, к ночи сшила из плотного материала несколько баулов. Весь следующий день родители упаковывали чемоданы и баулы; нам же, пытавшимся тайком засунуть в баулы какие-то свои игрушки и книги, было категорически запрещено приближаться к ним. Родители и без того постоянно препирались между собой по поводу того, что именно следует брать с собой; отец яростно отбрасывал в сторону какие-то вещи, повторяя, как заведенный, что через две – три недели, самое позднее через месяц, война закончится, и мы вернемся в свой дом.

Назавтра ближе к полудню к дому подкатил не своим фаэтоне балагур и весельчак Меир. Он легко, словно играя, уложил и связал наш багаж, элегантно помог маме устроиться на заднем сидении вместе с сестрой и братом. Отец последний раз обошел дом и, убедившись, что все ставни и двери закрыты, присоединился к нам. Мы уезжали из Ильинца, не подозревая, что уезжаем навсегда, что дом наш, как и другие дома, оставленные, как казалось, на несколько недель, будет разграблен местными жителями еще до прихода немцев, а затем разрушен прямым попаданием в него бомбы, о чем узнал отец в 45 – м, навестив местечко после демобилизации. На железнодорожном вокзале было душно и грязно, хотя людей почти не было. Мама предложила расположиться в привокзальном сквере на лавочках под тенью деревьев. Отец, ушедший разыскивать начальника вокзала, вернулся не скоро и сообщил, что ждать придется долго, поскольку поезд ожидается поздно вечером. Нам очень повезет, если он придет вообще и если остановится, чтобы заправить паровоз водой. Начальник станции обещал в этом случае посадить нас в вагон, где будут места, и эти места еще предстоит найти за то время, пока паровоз будет заправляться.

А если не будет мест, – беспокоилась мама, – или будут, но в разных купе или, не дай бог, в разных вагонах.

Купе, – передразнил ее отец. – Мы должны уехать любой ценой, даже если придется сесть на крышу вагона, даже если нужно будет стоять или сидеть на руках друг у друга! Хорошо, хорошо, – примирительно произнесла мама, – все будет хорошо. А сейчас давайте перекусим, – дети уже проголодались.

После еды папа, я и брат отправились бродить по станции. Было любопытно увидеть вблизи железнодорожные стрелки, увенчанные фонарями, водоразборные колонки для

заправки паровозов водой с длинными брезентовыми рукавами, похожими на хобот слона, семафоры, решительно протянувшие над рельсами свои

руки, словно преграждая путь поездам, сваленные на обочине колеи похожие на огромные катушки, колесные вагонные пары и сложенные штабелями деревянные шпалы, пахнущие мазутом. Отец рассказал нам, как работает семафор, как и для чего переставляют стрелки и как заправляют паровоз. Брат поинтересовался, для чего паровозу вода, и отец популярно объяснил, как в паровозном котле вода превращается в пар, который толкает поршень, а тот, в свою очередь, вращает колеса. Начало смеркаться, и мы возвратились в сквер. На руках у мамы тихо посапывала сестричка, да и сама мама время от времени клевала носом – сказывалось напряжение последних дней. Глядя на них, мне и самому захотелось спать. Отец составил несколько баулов вместе, и мы с братом улеглись на это импровизированное ложе. Было тихо, станция казалась вымершей, лишь издали доносилось мычание коров и лай собак. Когда я проснулся, было уже темно, и луна просвечивала через листья деревьев, образуя на земле причудливый орнамент. В голове промелькнула мысль – а вдруг поезд уже прошел, пока мы спали. От этой мысли у меня перехватило дыхание, и я окончательно пришел в себя. Отлегло, когда бодрствовавший отец, увидев, что я поднимаюсь, подошел ко мне и шепотом сказал:

– Спи, спи, сынок, поезда пока нет, а когда придет нам всем будет не до сна.

Вновь уснуть я уже не смог, просто лежал на спине с открытыми глазами, глядел на звездное небо и думал о предстоящей поездке. Звезды излучали яркий свет и мерцали, поддакивая моим мыслям. Послышался отдаленный рокот, похожий на раскаты грома.

– Ты слышишь, Иоси, – встревожилась мама, – нужно будить детей и перебираться на вокзал, пока нас не застал здесь дождь.

– Какой дождь, – возразил отец. Что ты говоришь, посмотри на небо – ни одной тучки.

– Да, – согласилась мама, вскинув голову, – а что же это гремело.

Отец не ответил, вслушиваясь в ночь. Вновь прогреготало, на этот раз сильнее и значительно ближе. Почти тотчас послышался нарастающий гул моторов.

– Господи, – вскрикнула мама, – да это – ж самолеты!

И как бы в подтверждение этого тишину прорезал нарастающий вой падающей бомбы.

– Ложись! – Истошно закричал отец и рухнул на баулы, прикрывая собой меня с братом. Раздался оглушительный взрыв. Подо мной будто разверзлась земля, и я почувствовал, что проваливаюсь в бездну вместе с отцом, братом и баулами. Ощущение падения продолжалось какое-то время; заложило уши. Испуг прошел, когда все кончилось, когда я увидел себя и брата, по-прежнему лежащими на баулах, а отца, обнимающего плачущую маму и сестренку. Я видел, как плечи мамы содрогаются от рыданий, вторящую ей сестру и отца, говорившего что то успокаивающе. Все это выглядело как в немом кино: без звука. В ушах звенело, во рту ощущалась горечь, и когда я сглотнул ее, услышал женский плач и шум удаляющихся самолетов. Я со страхом посмотрел на небо, еще несколько минут тому назад тихое и доброе, ставшее в одно мгновение враждебным и опасным. Бомба упала, по-видимому, за пределами железнодорожной станции, погруженной во мрак, не причинив ей вреда. Нигде ничего не горело, лишь в воздухе ощущался

привкус оседавшей пыли. На наше счастье немцы ограничились одной бомбой, приберегая остальной боекомплект для более достойной цели.

Поезд пришел под утро. Не помню, как садились, кто помогал перетаскивать и грузить в вагон вещи; память сохранила пугающий полумрак теплушки, запах свежеструганных досок доставшегося нам деревянного настила и раскачивавшегося при движении поезда подвешенного к потолку вагона фонаря «Летучая мышь». При тусклом свете этого фонаря, название которого никак не вязалось с моим представлением о летучих мышах, с которыми был знаком не понаслышке, отец застелил настил одеялом, извлеченным из баула, и мы, как были в одежде, устроились на ночлег. Лежать на настиле было жестко, но усталость взяла

верх. Спать долго, однако, не удалось – вновь началась бомбежка и машинист поезда, маневрируя, чтобы избежать прямого попадания, то резко тормозил, то ускорял ход. Взрывы слышались со всех сторон; в вагон через маленькие окна и щели проникали яркие сполохи и тугие порывы воздушной волны. В вагоне, естественно, никто не спал, но разговаривали шепотом, как будто громкая речь могла выдать наше местонахождение. Паники не было, лишь, когда бомбы ложились близко, слышались иногда женские приглушенные вскрики. Кто-то попытался, было, приоткрыть двери вагона, чтобы посмотреть, что происходит, но на него зашикали. Единоборство машиниста с бомбившими нас самолетами продолжалось недолго, однако, казалось, прошла целая вечность прежде, чем поезд пошел ровно, набирая скорость, словно стараясь поскорее покинуть то место, где еще несколько минут тому назад дыбилась земля, а камни и комья земли, вырванные взрывами, стучали о стены и крышу вагона. Некоторое время ехали молча. Начало светать, и кто-то открыл дверь. В широко открытый дверной проем, вспыхнувший ярким экраном, на котором проступило неправдоподобно голубое небо и поля, уходящие за горизонт, ворвалась утренняя прохлада и запах трав. Одна картина сменялась другой: поля сменялись перелесками, деревни – тянувшимися вдоль железной дороги огороженными участками, окаймленными тянувшимися к солнцу подсолнухами и кукурузой.

– Кажется, пронесло, – послышался густой бас, и высокий плечистый мужчина с накинутым на плечи пиджаком появился в створе двери.

Надолго ли, – с сомнением произнес другой мужчина, подходя к плечистому. Оба сели на пол у края двери, свесив ноги.

– Ты думаешь, они вернутся, Николай? – Вновь пробасил первый.

– Конечно, вернутся, Виталий Васильевич, – пополняют боезапас и вернутся, чтобы накрыть нас. Немцы не из тех, кто просто так отступается.

– Нужны мы им, – повернулся к Николаю Виталий Васильевич и я увидел профиль его лица – крутой лоб, мясистый нос и полные губы, контрастировавшие с маленьким подбородком, – это же не военный эшелон, хотя, конечно, на нем это не написано. Думаю, что бомбили немцы не столько нас, сколько железную дорогу, и, поскольку мы продолжаем двигаться, цели своей они не достигли пока, во всяком случае.

– Коля, прекрати курить! – Раздался чей – то женский голос, – ветер относит дым вглубь вагона, дышать нечем. Николай послушно загасил папиросу о торец двери, выбросил окуроч, поднялся и, подойдя к нашему настилу, наклонился, пытаясь разглядеть нас.

– Так вот из-за кого мы столько времени стояли в Липовцах, – сказал он полушутя полусерьезно. Ну-ну! Кто же вы, наши новые попутчики, не пора ли вам представиться?

Отец приподнялся, опираясь на локти, и посмотрел на Николая.

– Ну что ж. Он встал, застегнул пояс и, подойдя к Николаю, протянул ему руку. Давайте знакомиться. Меня зовут Иосиф Ионович, это моя жена – Гитл и дети – Абрам, Фима и Евочка.

– Ого! – воскликнул Виталий Васильевич, подходя к отцу и протягивая ему руку, – Сплошь библейские имена – Ева, Авраам и Иосиф. Что же вы, Иосиф, – пожевал он губами, – в жены себе не Марию, а Гитл взяли? Был бы почти полный комплект. Кстати, что это за имя такое – Гитл? Никогда не слышал ничего подобного.

– Обычное еврейское имя, – возразил отец, – а вы, собственно, кто будете?

– А мы будем, – вновь забасил Виталий Васильевич, причмокивая, – как и вы, – эвакуированные, а еще вчера – работники института сахарной промышленности. Я – Главный инженер, Николай – инженер-механик, здесь же наши семьи и семьи еще нескольких сотрудников, ушедших воевать. Из мужчин, не считая детей, четверо: вы, мы с Николаем и его отец Иван Николаевич; все остальные – женщины и дети. Так что на нас теперь забота о них.

– Куда мы едем, Виталий Васильевич? – Поинтересовался отец, присаживаясь на край нар, и жестом пригласил своих собеседников присоединиться к нему.

– Куда мы едем? – Переадресовал Виталий Васильевич вопрос отцу Николаю.

– Вопрос не в том, куда мы едем, а как быстро движется наш состав, – заметил Николай. Хорошо бы без остановок подальше от бомбежек, как в той песне «Наш паровоз вперед лети». А еще надо бы помолиться, чтобы мост через Днепр, который вот-вот должен показаться, был цел, и мы без помех оказались бы на левобережье. А там уже не страшно.

– И все же, куда мы едем, – повторил свой вопрос отец, – неужели вам не говорили, куда вас эвакуируют?

– А вам, не все ли равно. У вас что, есть выбор?

– Нет, выбора у меня нет, просто хочется иметь определенность. Не хотелось бы удаляться от родных мест. Мы ведь не рассчитывали уезжать надолго.

– Ну это уж, как судьба распорядится, точнее – как мы будем противостоять немцам, – включился в разговор Виталий Васильевич. Днепр – наша естественная защита; не пустим их за Днепр, – война скоро кончится.

– Не думаю, – возразил Николай и снова достал папиросу. Вряд ли Днепр станет препятствием. Если они без труда преодолели Южный Буг и Днестр и их самолеты беспрепятственно бомбят, что мы уже poznали на себе, Днепр их не остановит. Подозреваю, что нам придется бежать далеко-далеко за пределы Украины.

– Ты пессимист, Николай, – со значением сказал Виталий Васильевич, – я так не думаю. По крайней мере, не хочется так думать.

– Послушайте, вы, мыслители, – раздался женский голос, – подумали бы лучше, как нам умыться и извините оправиться, – время вставать.

– А что мы можем придумать, – вздохнул Николай, – ведро уже задействовано в качестве ночного горшка, немного воды для питья – в чайнике; на первой же остановке достанем еще одну емкость для воды. А пока нужно ждать, если кому-то

невозмогу – мы отвернемся. К сожалению, в товарных вагонах туалеты не предусмотрены.

– Извините, – вступила в разговор мама, поздоровавшись. – Скажите, как быть с горячей пищей. Мы, взрослые, конечно, обойдемся, но детям нужен чай, хотя бы.

– Почему «хотя бы», – поддержала маму еще одна женщина, – детям нужен будет нормальный обед, нам он тоже не помешает, но в первую очередь горячая вода – обмыться, постирать кое-что, опять же чай. Так что на первой же станции нужно будет запастись кипятком, а в буфете едой, желательно горячей. Вы мужчины договоритесь между собой, кто, чего делать будет, – кто ведра искать, кто кипяток таскать, кто в буфете еду покупать. И еще, нужна лестница, чтобы можно было, не задирая платье и не обдирая колени, в вагон подниматься.

Через некоторое время, после того, как женщины разбудив детей, привели себя и их в порядок, свободное пространство в вагоне начало заполняться людьми, знавшими друг друга, видимо, много лет. Кто-то предложил накормить детей. В мгновение на наш настил поверх одеяла вместо скатерти легли полотенца, а на них – бутерброды, лук, крутые яйца, соленые огурцы и куски вареной курицы – традиционный дорожный набор, не меняющийся с годами. Дети расселись в кружок и с аппетитом набросились на еду.

– Дома бы они так не ели, – заметила одна из женщин, намазывая на хлеб масло.

– Мои так точно, – согласилась мама, – их, чтобы уговорить съесть кусок хлеба с маслом, знаете, сколько сил и времени нужно!

– Все дети одинаковые, – сказала полная женщина в цветастой шали, накинутой на оголенные плечи, – мои тоже не лучше, только я боюсь, что отныне с этим проблем не будет.

– Что вы имеете в виду? – спросила мама, доставая из баула банку с вареньем.

– Войну, конечно, – ответила женщина, поправляя шаль. – В войну едой не перебирают. Вот когда, не то, что масла, – хлеба не будет хватать, съедят все, что ни дай; помните, как в 31-м.

– Что вы хотите – в 31-м был голод, – вздохнула мама. Я тогда Абрашу родила. Иосиф, бедный, недоедал, все старался мне отдать, боялся, что у меня молоко пропадет. Он работал,

как вол, ездил по деревням, фотографировал, менял одежду на продукты, похудел, стал страшный, больно было на него глядеть. А я, стыдно сказать, пухла, как на дрожжах. Но зато, слава богу, выкормила его, чтоб он был здоров. А ведь многие не выжили тогда. В нашем местечке каждую неделю кого-нибудь хоронили.

– Да, и у нас в Виннице мерли, как мухи. Особенно тяжело было видеть голодных детей, роющихся на свалках, – вступила в разговор молодая женщина с ребенком на руках, – видеть их огромные не по-детски печальные глаза на исхудавших лицах. Я не помню, чтобы они играли в какие-то игры. Воровали – да. Но играть! ...Мне было тогда пятнадцать, я ходила в школу, но убей бог, не могу вспомнить себя смеющейся. Вы представляете, как это ужасно!

– Вы что хотите сказать, что и сейчас наших детей ожидает нечто подобное? – усмехнулась мама. В такое просто поверить невозможно. Не дай бог! Слушайте, женщины, давайте поговорим, о чем – ни будь другом. И так голова идет кругом. Не знаешь, куда тебя везут, что с тобой будет, когда можно будет вернуться домой.

Мы с собой зимней одежды не взяли; а я сейчас думаю – вдруг придется где-то перезимовать.

– Ничего, переживем и это время, – успокаивающе произнесла женщина, как бы обращаясь к ребенку. Я одна, без мужа, и то думаю – все обойдется, а вы едете всей семьей – устроитесь. Уверена – это не надолго.

– Дай то бог, – вздохнула мама.

Накормив детей, женщины принялись готовить еду для взрослых. Мужчины тем временем вели свой мужской разговор о войне, о политике, о вероломстве немцев, разговаривали вполголоса, сидя в створе двери. Поезд шел быстро, мелькали телеграфные столбы и деревья; иногда мерный стук вагонных колес на стыках рельс менял свой ритм и это означало, что поезд проследовал через разъезд или небольшую станцию. Поднялось солнце и тени, отбрасываемые вагонами, стали короче, на земле стала заметно выделяться тень от паровозного дыма; ее очертания постоянно менялись, образуя причудливые картины.

Неожиданно поезд стал замедлять ход и вдруг резко остановился, будто наткнувшись на какое-то препятствие. От толчка вагонная дверь поехала по направляющим, едва не задев Николая, сидевшего с края. Запахло гарью. Отец высунулся из вагона, пытаясь рассмотреть, что произошло. Я тоже подошел к двери. Поезд остановился у края пшеничного поля, простирившегося до горизонта. На насыпь прыгнули отец и Николай, из других вагонов тоже высыпали люди, часть которых направилась в сторону паровоза. Мама, заметив, что я стою у двери, наполовину высунувшись наружу, забеспокоилась и потребовала, чтобы я отошел вглубь вагона. Через некоторое время вернулся отец и Николай, они сообщили, что путь разрушен взрывом бомбы, что уже работает ремонтная бригада и что на восстановление пути потребуется не менее часа. Можно оставить вагон, погулять и оправиться поблизости. Один за другим вагон стали покидать женщины и дети. Некоторые из них, боясь отстать от поезда, не отходили далеко от вагона и не отпускали от себя детей, другие, напротив, прогуливались вдоль эшелона, некоторые даже рассыпались по пшеничному полю. Несмотря на протесты мамы, отец увлек всех нас, сбежав с насыпи в сторону поля. Мама нарвала в обилии росшие здесь одуванчики, сплела и одела на голову Евочки веночек. Фима все порывался оторваться от нас, но отец крепко держал его за руку. Мы удалились от насыпи на приличное расстояние, куда не доставал запах гари. Воздух был прозрачен и свеж, пригревало солнце, слышалось стрекотание кузнечиков. Мы нашли небольшой овражек, поросший зеленой травой, и с удовольствием расположились прямо на земле, показавшейся мне после жесткого настила мягкой, как перина. Еще месяц тому назад трудно было бы представить маму, лежащей в своем дорожном костюме на припыленной траве рядом с детьми, которым никогда раньше не разрешалось садиться на землю. Лежали молча, лишь Евочка изредка что-то спрашивала маму, да Фима – непоседа рыскал поблизости. Первой встрепенулась мама.

– Иоси, – встревожено сказала она, – а кто-либо остался в вагоне, там же все наши вещи и документы. Давай—ка, возвращаться, к тому же мы отошли далеко от поезда, как бы не отстать. Отец что-то проворчал про себя и неохотно поднялся, стряхнув травинки. Отловив Фиму, мы заспешили к поезду и сделали это вовремя: продолжительный прерывистый гудок паровоза требовательно позвал пассажиров.

Еще через несколько минут, медленно пройдя восстановленный участок, вдоль которого стояли ремонтники, поезд начал набирать скорость. Вновь замелькали столбы и деревья; обитатели вагона уселись или улеглись на настилах, а мы с отцом остались у вагонной двери. Паровоз задымил гуще, и я ощутил на своем лице хлесткие уколы частиц несгоревшего угля. Мы поднялись и перешли вглубь вагона. Стучали колеса на стыках рельс, выводя свою незатейливую мелодию, чей ритм время от времени менялся; эта мелодия убаюкивала, клоня ко сну. Проехали полустанок с развороченными рельсами, на которых тлели обугленные шпалы, воронки от авиабомб и лежащие на боку паровоз и вагоны. Эта картина, впервые увиденная, потрясла мое детское воображение, и хотя впоследствии на нашем пути было немало разрушенных бомбами зданий, вагонов и паровозов, привыкнуть к зрелищам такого рода я так и не смог. Не прошло и получаса со времени нашей первой вынужденной стоянки, как скрежет тормозов, лязг буферов и испуганные крики известили об очередной экстренной остановке эшелона. Послышался гул приближающихся самолетов и короткие прерывистые гудки паровоза.

– Всем из вагона, в поле! – Скомандовал Николай.

Все бросились к двери, поднялась паника, раздалась крики и плач детей. Мужчины, первыми спрыгнувшими на насыпь, принялись ловить сыпавшихся из вагона женщин и детей и направлять их в поле, в густое и высокое пшеничное поле. Когда началась суматоха, я потерял из виду родителей, брата и сестру; мне показалось, что они продолжают пребывать на нашем настиле, однако, не обнаружив их, начал осматривать другие места в вагоне, но там, кроме престарелого Иван Николаевича, никого не было.

– Дедушка, а вы, почему здесь остались? – Крикнул я ему.

– А меня попросту забыли, – грустно усмехнулся Иван Николаевич и добавил:

– да и не в том я возрасте, чтобы сигать, как заяц. Трудно мне поспевать за молодыми.

А вот ты, почему не побег как все? И тебя забыли? Ну, народ! Давай, парень, беги – там, в поле не так страшно, по крайности видно, когда и куда прятаться. Давай, давай, поспешай!

Я было рванулся к двери, но остановился, пораженный представившейся мне картиной: мужчины, женщины и дети, спотыкаясь и падая, бежали во всю прыть прочь от эшелона в спасительное поле. Некоторые из них прикрывали голову руками, как будто это могло защитить их от опасности, исходящей от низко летящих самолетов с черными крестами на крыльях и фюзеляже. Они летели так низко, что видны были летчики в кабинах самолетов; лиц не было видно – их закрывали огромные черные очки и шлемы. За гулом самолетов не был слышен стрекот пулеметов, но я явственно видел, как пули поднимают фонтанчики земли; я еще подивился тому, как ровно, будто под линейку, ложатся пули на обочине дороги вдоль железнодорожной колеи. Самолеты, улетев, вскоре развернулись и вновь прошли бреющим полетом над эшелонами, расстреливая вагоны. Я, словно загипнотизированный, наблюдал за их полетом; страха не было, было лишь любопытство и ощущение того, что все это происходит не в жизни, а на экране кинотеатра. Может быть оттого то летчики, которых можно было рассмотреть детально, не казались мне страшилищами, как о них говорили. Они были обыкновенными людьми такими же, как и мы, на них были такие же шлемы, как и

у наших летчиков, и это открытие ошеломило меня. Я вновь и вновь смотрел на самолеты и удивлялся тому, как они не врежутся в землю – их колеса едва не касались чахлых кустов у обочины грунтовой дороги. В какой-то момент, когда встреча с землей казалась неизбежной, самолеты взмывали вверх, увлекая за собой натужный гул моторов. Странно, но они не бомбили нас, а лишь утюжили и утюжили, как будто хотели расплющить эшелон; им доставляло

видимое удовольствие демонстрировать свою мощь и безнаказанность. В очередной раз, когда самолеты улетели, чтобы сделать разворот, я увидел отца, бегущего к нашему вагону. Еще на бегу, увидев меня стоящим у двери вагона, он крикнул: – Прыгай скорее, не бойся! Но мне было страшно прыгать на насыпь с такой-то высоты, и я, подождав, пока отец приблизится, прыгнул в его руки и мы вместе побежали в поле.

Самолеты улетели так же внезапно, как и появились, и народ начал не без опаски подтягиваться к железнодорожному полотну. В наш вагон вернулись все, некоторые грязные, в ссадинах, как бы не в себе, но целые и невредимые. Уже потом оказалось, что в других вагонах есть легко раненные, которым была оказана необходимая помощь. Поезд пошел, но еще долго в нашем вагоне обсуждали налет немецких самолетов. Главным героем дня стал Иван Николаевич, пребывание которого в вагоне во время обстрела оказалось для всех полной неожиданностью; он демонстрировал всем пулевые отверстия в крыше вагона и на настиле. Часть отверстий пришлось над облюбованным им местом. Судьба оказалась благосклонной к нему, – ни одна из пуль не задела его и это обстоятельство привело его возбужденное состояние: обычно неразговорчивый, он затараторил, отпуская в адрес возвратившихся язвительные замечания по поводу их поведения и внешнего вида. Судьба благоволила и к нам: больше в этот и последующие несколько дней нас не обстреливали и не бомбили, мы благополучно миновали Днепр, на какой-то из железнодорожных станций удалось купить еду и обмыться у водоразборной колонки, пока меняли паровоз. Николай достал где-то съемную металлическую лесенку, которую закрепляли на остановках за полозья двери. Иногда на разъездах и станциях наш эшелон подолгу простаивал, пропуская, военные или санитарные поезда, что очень беспокоило взрослых, опасавшихся новых налетов и бомбежек. И хотя немецкие самолеты нас больше не беспокоили, война напоминала о себе разрушениями и пожарами, встречавшимися на нашем пути, перронами, заполненными беженцами, сидящими на чемоданах и баулах в ожидании поездов и сводками информбюро, звучащими из огромных репродукторов, установленных крышах вокзалов.

Миновав Киев, Харьков и Курск, наша семья выгрузилась в один из вечеров на большой железнодорожной станции Усмань, что под Воронежем. Этому предшествовал тяжелый разговор между отцом и Виталий Васильевичем, которому отец поведал о своем желании уже в ближайший день – два пристать к какому-то берегу с тем, чтобы там переждать время.

– Не делай глупости, Иосиф, – наступал он на отца. Не торопись оставлять этот вагон, счастливый, в определенной мере, если здесь уместно использовать это слово. Поверь мне, – немцы докатятся и до этих мест, и по мере их приближения, – а оно может быть быстротечным, – выбраться отсюда будет ох как непросто. Совсем непросто, – повторил он, – может быть даже невозможно. Удивительно, что

ты со своим житейским опытом этого не понимаешь. Едем вместе, вместе будем и устраиваться на Урале. Ты там бывал когда-либо?

Нет? Какие там места! Горы, леса, – великолепие! А реки, рыбалка! Закончится война, захочешь – вернешься, если не понравится Урал. А пока переждешь тяжелые времена вдали от бомбежек.

– О чем ты говоришь! – Возмущался отец. Какой Урал! Зачем ехать в такую даль, мы и так уже почти до Воронежа добрались. Ты представляешь, какое расстояние разделяет Воронеж и Винницу. Немцев в Воронеж не пустят. Видел, сколько за эти дни военных поездов прошло в сторону фронта, какая сила. Не сегодня—завтра их остановят, а уж как остановят, так и гнать начнут. Конечно, на Урале будет спокойней, но стоит подождать здесь – отсюда возвращаться ближе и проще. Я понимаю, что вам выбирать не приходится – для вас уже определено будущее место работы и проживания, но мы – то ни с чем не связаны. А потом, ты представляешь, сколько пройдет времени, прежде, чем доберетесь до Урала. У меня уже сегодня все тело болит

от лежания на досках; а эта грязь, а еда всухомятку! А каково женщинам и детям! Я не могу не думать о них.

Вот именно, – согласился Виталий Васильевич, – о них ты и должен думать в первую очередь. Ты, наверное, не представляешь, какую ответственность берешь на себя, решив остаться здесь в непосредственной близости от фронта? Ты рискуешь не только своей жизнью, но и жизнью близких тебе людей.

Отец замолчал, обдумывая сказанное. Его лицо ничего не выражало, но по тому, как ходили желваки на его скулах, и как поминутно пальцами левой руки теребил лоб, как бы перебирая морщины, было видно, что решение дается ему нелегко. Последнюю точку в этом разговоре поставил Николай, который, обращаясь к Виталию Васильевичу, сказал с иронией в голосе:

– Что его убеждать – он ведь у нас самый мудрый и опытный. Не хочет ехать с нами, не надо. Жизнь покажет, чьи действия окажутся наиболее продуманными. Вот Виталий Васильевич, еще несколько дней тому рассуждавший также, – ведь изменил свою точку зрения: бомбежки и обстрелы оказались более убедительными аргументами, чем философствования. Не обижайтесь на меня Виталий Васильевич. Видимо, вы, Иосиф Ионович, не до конца прониклись осознанием серьезности положения, хотя слушаете сводки с фронтов и представляете, с какой скоростью фашисты продвигаются вглубь нашей территории. Воронеж, если еще не стал, то вот-вот станет прифронтовой зоной, и вам не избежать повторной эвакуации, решишь вы остаться здесь.

Доводы Виталий Васильевича и Николая были убедительными, однако отец уже принял решение и, словно сжигая за собой все мосты, решительно и коротко бросил:

– Все! Остаемся.

Попрощавшись с нашими попутчиками и пожелав им благополучно добраться до Урала, мы оставили вагон, ставшим на время вторым домом и, не найдя пристанища, переночевали в каком-то вагоне, где тоже имелись настилы. Наутро отец раздобыл телегу, и мы отправились в поселок, больше походивший на большую деревню. Отец предпочел железнодорожной станции поселок, резонно полагая, что бомбежкам, если они будут, в первую очередь подвергнется железная дорога. В Усмани мы пробыли менее двух месяцев – сбылись прогнозы Виталий

Васильевича: угроза захвата Воронежа стала реальной. Усмань запомнился мне большими огородами, спускающимися к реке с одноименным названием, приторно сладким запахом солода, использовавшимся для приготовления пива и кваса, деревянными избами с земляными полами, в одной из которых мы нашли временный приют, и вкусом патоки, которой угощала нас наша сердобольная хозяйка – моложавая вечно улыбающаяся женщина, мать двоих детей. Несмотря на причиненные ей неудобства, она что называется из кожи лезла, чтобы как-то угодить нам, «угодить» – в самом хорошем смысле этого слова: она угощала нас овощами, только что сорванными с грядки, парным молоком и пахучим свежо выпеченным в большой сводчатой печи хлебом. Ее приводил в восторг акцент – типично еврейский акцент, с которым говорили родители.

– Как чудно вы разговариваете, – смеялась она, прикрывая рот подолом своего цветастого сарафана. Услышав идише, на котором иногда мама обращалась к отцу, – она изумленно спросила:

– Вы что ли немцы?

А, узнав, что мы – евреи и разговариваем на своем родном языке, сказала, что впервые видит евреев – «явреев», как говорила она.

– Какие же вы явреи, – недоумевала она, – да вы такие же люди, как и мы, и дети ваши, что мои. Вот разве что говорите немного чудно, так и у нас есть такие, что слова переиначивают, особливо, когда выпьют.

Ее сын – мой сверстник, мастерил необычное транспортное средство: «танк» на полозьях, оснащенный парусом. Уже был готов остов, насаженный на санные полозья, и этот остов обшивался им досками. Коля, – так звали его, – охотно принял мою помощь, и мы с ним рыскали по поселку, выискивая «плохо лежащие» доски, которые тут же шли в ход на обшивку остова.

Вот как река станет, – делился он своими планами, – поставим наш танк на лед и пойдем под парусом, знаешь аж куда! И он называл мне места, которые мы обязательно должны были достичь. Когда нам что-то мешало мастерить, мы по просьбе его матери убирали огород, – вытаскивали из грядок морковь, срывали головки подсолнухов и укладывали их на пологую крышу сарая. Из стеблей подсолнуха сооружались вигвамы, где проводили время за разговорами о школе – близился сентябрь. Мне не удалось стать ни свидетелем, ни участником задуманного ледового похода; не дождалась меня и Усманьская средняя школа – бомбежка Воронежа, о которой с тревогой говорили жители поселка, вынудила родителей снова собраться в дорогу, на этот раз, как оказалось, дальнюю – в Узбекистан.

Глава 3. Кермине

Те, кто в наши дни совершает поездку в комфортабельном фирменном поезде из центральной России в Узбекистан, знает, насколько она утомительна, хотя длится не более двух дней. Наша же поездка осенью 41 – го из Усмани до станции Каган, что возле Бухары, в эшелоне, сплошь составленном из теплушек – товарных вагонов, совершенно не приспособленных для перевозки людей, длилась больше месяца. Человек привыкает ко всему; привыкли мы и к такому вагону, ставшему, в сущности, своеобразной коммунальной квартирой, где у каждой семьи был свой угол, точнее – место на настиле, не огороженное ничем от других таких же мест. Как и в любой коммунальной квартире, у нас время от времени возникали какие-нибудь проблемы, связанные, скажем, с местом у двери вагона во время движения поезда, с уборкой и выносом мусора, с очередностью приготовления пищи на металлической печке, стоявшей в центре вагона. Возле печки, нещадно дымившей, несмотря на наличие дымохода, выведенного наружу через одно из окон, всегда находился неснижаемый запас угля и деревянных брусьев или досок, обеспечением которых занимались мы, ребята. Дело это было нехитрым, благо на любой станции всегда можно было найти кучи угля, которым заправлялись паровозы, а также горы деревянных ящиков, бревен и брусьев. Движение нашего эшелона не вписывалось ни в какие закономерности: иногда за короткое время преодолевались большие расстояния, иногда сутками стоял он где-нибудь в тупике, и тогда огромное скопище людей, населявшее его, заполняло подъездные пути, перрон, пристанционную площадь и вокзал. В таких случаях устраивались грандиозные стирки, мужчины снаряжались за водой, а вагоны ошестинивались выведенными через окна брусьями, между которыми натягивались веревки для сушки выстиранной одежды. Со стороны такие вагоны выглядели нарядными, словно специально украшенными цветными флагами. За стиркой следовали купания. Собственно, купали только детей, взрослые же ограничивались мытьем головы и верхней части туловища. Когда мылась мама, мы с отцом натягивали простыню, закрывая маму от постороннего глаза. На некоторых станциях местными жителями продавалась горячая картошка, соленые огурцы и помидоры, вареная кукуруза, свежие овощи и фрукты. Все это, к вящей радости женщин и детей, закупалось в больших количествах, и в вагонах устраивался форменный пир, украшением которого иногда становилось несколько четвертинок водки, которые еще можно было купить в пристанционных буфетах. Никто, включая детей, не перебирал едой, – деликатесами казалась какая-нибудь жалкая котлета с перловой кашей, а то и постный борщ, купленный в столовой или в так называемом ресторане. По мере продвижения на восток, наш стол пополнялся блюдами татарской и башкирской кухни. Мама с подозрением смотрела на огромные вареники с конским мясом и пирожки, начиненные какой-то травой.

– Фи! – восклицала мама, брезгливо отталкивая от себя кастрюлю с варениками, – конское мясо – как это можно! Буду умирать с голоду, но в рот эту гадость не возьму.

Отец из солидарности тоже отказался их есть, а я, Фима и Евочка уплетали за обе щеки. Я думаю, что, если бы отец не открыл маме содержимое злополучных вареников, ее отношение к ним было бы другим. Пирожки с травой у детей

воодушевления не вызывали; мы вытряхивали из них траву и съедали только тесто. Продолжительное пребывание на больших станциях, имело и познавательное значение. Иногда мы с отцом направлялись знакомиться с жилыми районами, примыкающими к железной дороге, посещали рынки и магазины, с интересом рассматривали военную технику, стоящую на платформах поездов, отправляющихся на фронт, разговаривали с солдатами и командирами, сопровождавшими эту технику, не раз видели и демонтированное оборудование заводов, вывозимое в тыл. На одной из станций повстречался нам бронепоезд, – короткий состав с «закованными в латы» паровозом, и несколькими вагонами разной высоты. Они были

обшиты стальными листами, и оснащены пушками и небольшими башенками с прорезями для наблюдения. Бронепоезд, который до этого представлялся мне гигантом, с развивающимся над орудийной башней красным флагом, разочаровал меня своим неказистым видом, заброшенностью и какой-то беспомощностью. Уж больно сиротливо смотрелся он со своим подслеповатым паровозом среди таких же дряхлых, видимо отслуживших свой век, безжизненных локомотивов. Было интересно наблюдать за работой маневрового паровоза «кукушка», юрко сновавшего среди составов, выбирая нужные ему вагоны, которые он без видимых усилий затаскивал на горку и которые оттуда, уже самостоятельно, скатывались на выбранный для них сцепщиками путь, формируя состав одного направления. Впервые увидели мы и работу поворотного круга, который, вращая, словно игрушку, въехавший на него паровоз, ставил его в нужное положение, после чего тот, как бы обретя второе дыхание, устремлялся к ожидавшему его составу, чтобы доставить его в нужное место. Мы, мальчишки, уже неплохо разбирались в марках локомотивов, знали, чем отличается, скажем, паровоз «ФД» (Феликс Дзержинский) от «ИС» (Иосиф Сталин), мы могли с закрытыми глазами только по пытению паровоза определять его принадлежность к той или иной модели. Мы уже знали, для чего рабочий – железнодорожник обходит один за другим составы, выстукивая своим молотком на длинной рукоятке колеса, открывает металлическим крючком дверцы букс колесных пар и заливает в них, при необходимости масло из продолговатого чайника. Восхищала виртуозная работа сцепщиков, которые под лязг буферов, столкнувшихся между собой вагонов, спущенных с горки, ловко подныривали под них, чтобы соединить металлические разъемы гибких шлангов пневмотормозов и набросить тяжелые звенья цепи на крюки, связывая тем самым вагоны между собой. Закончив работу, они дудели в короткую блестящую на солнце трубу и делали отмашку флажком, давая этим машинисту маневрового паровоза сигнал о завершении сцепки. На больших узловых станциях продолжительные стоянки не были в тягость, надоедали долгие ожидания на разъездах и небольших станциях из-за неопределенности положения: никто не знал ни того, почему эшелон остановлен, ни сколь продолжительной будет стоянка. В таких случаях из вагонов выходили только при крайней необходимости, поскольку уже имели место отставания от поезда пассажиров, легкомысленно удалившихся от вагонов на приличное расстояние. Такого рода «ЧП» доставляли немало волнений и хлопот членам семей, отставших от поезда, а также начальнику эшелона (была такая должность), чьи действия иногда приносили свои плоды в виде благополучно возвращенных семьям перепуганных и изрядно потрепанных смельчаков, охочих до приключений. Увы,

не всегда аналогичные происшествия заканчивалось столь счастливо, и тогда слезам и стенаниям не было предела. Не были исключениями и трагические случаи. Очень часто во время стоянок на периферийных путях поход на вокзал за водой, кипятком или продуктами превращался в опасное занятие, сопряженное с преодолением препятствий в виде стоящих или проезжающих поездов. Приходилось пролезать под вагонами, пересекать железнодорожные пути и прыгать с подножек товарного вагона на набегающий на тебя паровоз. Мне самому доводилось несколько раз перебежать под движущимися, пусть медленно, вагонами и ощущать страх и головокружение, стоя в узком пространстве между мчащимися в противоположных направлениях грохочущими поездами.

Шли дни, и наш эшелон, миновав Уральск, Актюбинск и Казалинск, медленно, но верно приближал нас к конечной цели эвакуации. Менялся ландшафт местности: равнины, с зелеными и ухоженными участками, переходили в унылую пустынную, лишенную зелени, степь, степь – в горы; расстояния между населенными пунктами становились все больше и больше. Поезд нырял в туннели, погружая нас в пугающую темень, заполненную едким паровозным дымом, и, словно играя нашими чувствами, заставлял холодеть сердца в те мгновения, когда вагоны, словно повисая над пропастью, проходили узкие участки пути, ограниченные, с одной стороны отвесными скалами, которых, казалось, можно было коснуться рукой, и уходящим

глубоко вниз бездонным ущельем, – с другой. На разъездах и в степи стали появляться верблюды и ослики, нагруженные огромными выюками, юрты с куполообразными крышами и казахи, облаченные в халаты и меховые шапки, несмотря на жаркую погоду. Верблюды участливо смотрели на нас своими большими и грустными глазами, продолжая свою нескончаемую жвачку. Некоторое время железная дорога тянулась вдоль реки Сырдарья, несшей свои желтые воды в Аральское море. Река была совершенно не похожа на полноводные Днепр и Волгу. Мне вспомнился Собь с его прозрачной водой и зелеными берегами, захотелось очутиться дома у запруды с ее теплыми каменными плитами, пробежаться босиком по влажной траве, на бегу сбрасывая с себя одежду, и погрузиться в сверкающую на солнце воду. Однажды поезд остановился перед закрытым семафором в каких-нибудь десяти метрах от Сырдарьи; было большое искушение окунуться в реку, когда не только взрослые, но и дети, забыв об опасности, чертя голову, бросились в мутную, казавшуюся грязной, воду.

– Пойдем, папа, – канючил я, дергая его за руку. – Только туда и назад.

– Я тоже пойду, – голосом, не допускающим возражения, сказал Фима и начал стаскивать с себя рубашку.

– Никуда вы не пойдете, – твердо сказала мама, видя, что отец начинает колебаться.

– Еще, не дай бог, отстанете от поезда, – я ж тогда с ума сойду. Посмотрите на эту воду. Это что, вода? Вы же не свиньи, чтобы лезть в эту грязь. Меня б озолотили, – не пошла бы.

– Ну, мама! – Продолжал я канючить.

– Чтоб я так была здорова, – вы не пойдете! – Завершила мама разговор своей самой страшной клятвой, и мы остались. Остальные, побарахтавшись в воде, спокойно вернулись в свои вагоны мокрыми, пахнущими свежестью без всяких

следов грязи на теле, не считая запачканных ступней тех, кто босиком преодолевал расстояние от реки до эшелона. Я сильно обиделся на родителей, и эта обида усилилась еще и тем, что, как назло, ждать на этом месте пришлось еще не менее получаса.

– Вот видишь, – говорил я зло маме, – можно было трижды выкупаться за это время, а ты не пустила.

Перестань, – вступился за маму отец, – еще будет время выкупиться и поплавать. И, как бы в компенсацию за отказ в купании, на очередной станции купил нам приторно сладкую вяленую дыню в форме сплетенного из полосок небольшого калача.

«На фронте плохие дела», – шепотом делился отец с мамой полученными на вокзале новостями, – наши оставили Курск.

– Так это уже Россия! – ужаснулась мама.

– Да, – подтвердил отец, – плохо, очень плохо!

– Это значит, что Украина и Белоруссия – У немцев, – договорила за отца мама и тихо всхлипнула, – что с нами будет?

– Что будет, то будет, – философски заметил отец, и, успокаивающе, продолжил, – через несколько дней кончится наша кочевая жизнь, прибудем на место, устроимся, я начну работать, а Абраша пойдет в школу. Мы уже действительно стали похожими на цыган, – ты только посмотри, как отрасли волосы. Первое, что предстоит сделать – это постричься и как следует обмыться, хорошо бы в бане. У меня все тело чешется.

– Кстати, знаешь, Иоси, – совсем тихо сказала мама, делая большие глаза, – я сегодня у Евочки вычесала вошь. Ты представляешь, какой ужас! Нужно будет проверить, все ли в порядке у мальчиков – что-то Фима стал часто кроцаться. Никогда не думала, что у моих детей могут завестись вши, – снова всхлипнула она. Когда уже все это кончится? Ты говоришь – несколько дней. Каждый день такой поездки отнимает полгода жизни, посмотри, на кого я похожа – похудела так, что на мне все болтается. Может быть, стоит сойти в Ташкенте. Ташкент большой город, где наверняка найдется жилье и работа. А?

– Мы не можем сойти в Ташкенте, – возразил отец, – нас там просто не примут, поскольку направление выдано в Каганский эвакуопункт, ты же знаешь. Что же до твоего вида, то похудание пошло тебе на пользу, ты стала еще красивей.

– «Красивей», – передразнила она отца и добавила на идише: а зохен взй, какая я красивая! ... В другой раз после таких слов мама непременно достала бы зеркальце и посмотрелась бы в него, но сейчас не было настроения, и она оставила слова отца без внимания.

В Ташкенте, и Самарканде мы стояли очень мало и, как предсказывал отец, к концу недели прибыли в Каган, откуда в тот же день, получив необходимые документы, выехали на станцию Кермине. Поездка в Кермине заняла всего несколько часов и была приятной в том смысле, что ехали мы не в надоевшем до чертиков товарном, а в пассажирском вагоне, предназначенном для местного сообщения, наподобие нынешних электричек. Вагон был полупустой, и мы с комфортом расположились на нескольких сиденьях, подстелив под себя одеяла. Фима, против обыкновения, тотчас же улегся, чем вызвал беспокойство у родителей.

– Что это с ним? – Спросил отец, обращаясь к маме.

Мама пристально посмотрела на свернувшегося калачиком Фиму и тронула его лоб.

– У него, по-моему, температура. Иоси, достань из моей сумочки термометр.

У Фимы действительно оказалась высокая температура. Уже пару дней тому назад он шмыгал носом, покашливал и жаловался на головную боль, хотя по-прежнему оставался резвым и беспокойным. Сегодня же его как будто подменили, он скис, от его былой активности не осталось и следа; никогда не страдающий отсутствием аппетита – он на этот раз капризничал, отвергая любую еду. Голос его погрубел.

– Нужно бы показать его доктору, – произнесла мама и, как бы отвечая самой себе, добавила, – да где же его найти. Что будем делать? Его бы надо попоить горячим чаем с молоком, сделать гоголь-моголь, поставить компресс на лоб, но где все это достать. Он, видно, простыл где-то, – много ли ему нужно.

– Нет, – возразил отец, – вряд ли это простуда, – я водил его сегодня уже дважды в уборную, у него сильный понос. Может он что-то такое съел вчера, ведь за ним нужен глаз да глаз.

– А что «такого» он мог съесть, – обиделась мама, – кушал он, как и все. Правда мог подобрать что-то, но я все время с детьми, они постоянно на виду. И еще, тебе не кажется странным такое сочетание – понос и кашель?

– Нет, не кажется, – делая ударение на «кажется», заметил отец, – такая болезнь, как дизентерия, как тебе известно, протекает иногда при высокой температуре. А вообще мне это напоминает, знаешь что? Вспомни, когда Абраша болел корью, у него была точно такая картина: температура, кашель, понос, хриплый голос _.

– И сыпь по всему телу, – добавила мама. А ведь сейчас у него сыпи нет, я это уже проверила. В любом случае, сразу же по приезде нужно найти врача.

– А его не нужно искать, – раздался бархатистый голос сидевшего напротив наискосок высокого мужчины с большими на выкате глазами, – Вы его уже таки имеете.

Я давно обратил внимание на двух пассажиров, трапезничавших по соседству. На аккуратно расстеленном на сиденье носовом платке были выложены зелень, огурцы, помидоры, куски мяса, лепешки и ранее никогда не виденный мной красный стручковый перец. Мужчина брал за хвостик этот красивый глянцево-пурпурно-красный длинный стручок, макал его в соль, насыпанную на кусочек бумаги, и, не спеша, отправлял его в рот, делая при этом такое выражение лица, как будто поглощает изысканный деликатес. При этом его выпуклые глаза становились еще большими, казалось, они вот-вот вылезут из орбит и начнут свою самостоятельную жизнь без всякой связи с лицом. Проглотив перец, он крякал и отправлял в рот кусочек мяса, заедая его лепешкой, за которой следовал помидор, огурец и зелень. Наблюдая за ними, я заметил, что технология приема пищи, последовательность поглощения составляющих трапезы, выдерживается ими так, как если бы это отрабатывалось на протяжении дли-

тельного времени. Ели они очень аппетитно, и одно это вызывало у меня слюноотделение, но этот красавец перец, этот удивительный овощ, красивее которого я в своей жизни никогда не видел, возбуждал во мне трудно сдерживаемое желание попросить его у наших попутчиков или даже стащить незаметно от них и родителей, поглощенных проблемой больного Фимы. Мне казалось, что, попробовав его, я уже никогда не

смогу забыть этот вкус, как не смог забыть вкус мандарин, которые приятель отца привозил иногда под новый год в Ильинцы. Забегая вперед, скажу, что, не поверив объяснениям родителей, уверявших, что стручковый перец – штука несъедобная и даже коварная, и что деликатесом его, как и ненавистный рыбий жир, которым родители пичкали нас, не назовешь, я все же настоял, чтобы мне его купили. Невозможно передать чувство, охватившее меня, когда, откусив пол перца, я, вместо ожидаемого наслаждения, испытал пытку горечью и жжением, будто мне в рот вылили концентрированную кислоту или зажженную паклю; внутри меня бушевал пожар, который нельзя было погасить никакими средствами. К нам, вытирая на ходу руки, подошел лупоглазый улыбающийся крепыш в выпцветшей тенниске.

– Так. Краем уха я слышал ваш очень профессиональный, с медицинской точки зрения, разговор, – иронично начал он, – поэтому мне остается только подтвердить или опровергнуть ваш диагноз, коллеги. Ну, покажите мне вашего шлеймазела.

Сев на сиденье рядом с Фимой, он расстегнул пуговицы на Фиминой рубашке, внимательно осмотрел его живот и спину и, попросив у родителей ложечку, заставил ноющего Фиму открыть рот и высунуть язык. Наглядевшись вдоволь, он начал смешить брата, корча рожицы, затем достал из нагрудного кармана деревянный стетоскоп, точь-точь такой же, как и у нашего ильинецкого врача Гейне – высокого сухопарого пожилого немца с пышными белыми усами, которого я почему-то побаивался. Летом он всегда приходил при галстук в белом полотняном костюме, в белом картузе и парусиновых туфлях, был строг и немногословен; не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался, но был корректен и вежлив. Зимой он носил меховую шубу с огромным отложным воротником, меховую шапку пирожком и обувь в галошах. После прихода немцев в Ильинцы, он продолжал работать, как врач, оказывая услуги, как жителям, так и немецким военным, с которыми же и уехал в Германию, когда советская армия стала приближаться к местечку. После войны говорили о нем разное, однако в памяти он остался как хороший врач, которому многие были обязаны своим здоровьем.

Выслушав Фиму, наш попутчик, разобрал свой стетоскоп и спрятал его в карман.

– У вашего мальчика корь, а сам он – хорошее наглядное пособие для студентов мединститута – настолько классически проявляются в нем признаки начинающегося заболевания. Действительно, сыпи на теле у него еще нет, но зато есть на небе.

Слово «небо» прозвучало у него как «нобо».

– Диагноз окончательный и обжалованию не подлежит, – шутиливо закончил он свою тираду. Лекарства... Я напишу вам, какие лекарства следует взять в аптеке. И еще. Если кто-то из ваших детей не переболел корью и не имеет прививки, лучше их держать подальше от больного. А ты, наглядное пособие, – подмигнул он Фиме, – не очень – то зазнавайся, а в наказание за то, что не уберегся, придется тебе полежать пару недель. Понял? Вы, мамаша и папаша, не очень расстраивайтесь, корь – болезнь не смертельная, хотя и заразная; было бы хуже, если бы он заболел тифом, что для нынешнего времени – вещь вполне обыкновенная, – «успокоил» он родителей.

– Главное для вас сейчас – как можно быстрее определиться с этими «бэбэхами», – показал он пальцем на наши баулы, – найти жилье и уложить больного в постель.

Здесь хороший здоровый климат и мальчик быстро пойдет на поправку. Кстати, куда вы направляетесь? В Кермине? Не самое лучшее место на земле, но и там жить можно.

– А какое же место самое лучшее, – спросил отец, улыбаясь, – где этот рай?

– Конечно же в Одессе. Я лично не знаю лучшего места для еврея, чем Одесса. А знаете почему? Потому что даже неевреи там евреи, в том смысле, что за многие десятилетия совместного пребывания объевреились до такой степени, что отличить еврея от нееврея невозможно. Вот я, к примеру, кто по национальности? Еврей, скажете вы, и будете неправы, я – немец, хотя признаваться в этом сейчас не очень- то хочется. Одесса – город интернациональный и, если бы существовала такая национальность – «интернационал», у одессита была бы в паспорте записана именно эта национальность. Кстати, знаете ли вы, что здесь, в Узбекистане, живет много веков так называемые «бухарские» евреи, практически ничем не отличающиеся от узбеков. Они, конечно, чтят еврейские традиции, но в остальном – такие же, как и остальные в Узбекистане. Вы еще познакомитесь с ними. Теперь о Кермине. Это небольшая железнодорожная станция с единственным предприятием – хлопкоочистительным заводом, где можно найти работу. С жильем очень плохо: преобладают маленькие частные, в основном глинобитные дома. Где могут разместиться беженцы, не представляю, хотя на улице никто не живет. Народ как- то устраивается. Наверное, и вам удастся что-нибудь придумать. Во всяком случае, я желаю вам этого. Да. Будете в Одессе, заходите. Любого милиционера в Люсдорфе спросите, где дом Блюма, и он вам скажет: «как, вы не знаете, где живет наш самый известный хулиган?» Хулиган – это я. Да, да, не удивляйтесь, я уже давно никого не задираю и окна не бью, более того стал врачом, а меня по- прежнему все знают, как Мишку-хулигана.

Поблагодарив врача одессита, оказавшегося более, чем кстати, в нашем вагоне, мы выгрузились на перрон вокзала станции Кермине. Мы перенесли наши вещи под тенистое дерево у арыка – узкого канала с журчащей прохладной водой, уложили Фиму на баулы, и отец направился на поиски жилья, наказав мне ни на шаг не отлучаться от мамы. Со своего места мне было видно, как отец, поднявшийся на веранду чайханы, располагавшейся над арыком в нескольких десятках метров от нас, обратился к группе узбеков, сидевших на ковре, поджав под себя ноги, и неторопливо потягивавших чай из больших чашек без ручек – пиал. Он что-то объяснял им, показывая рукой на нас, затем, видимо подчинившись их просьбе, присел на корточки, взяв протянутую ему чайханщиком пиалу, которую тут же наполнили чаем из большого цветастого чайника. Еще через четверть часа отец в сопровождении одного из сидевших в чайхане узбеком, полусогнутого с белой бородой клинышком, вышел из чайханы и направился в сторону железной дороги. Вернулся он нескоро с уже знакомым мне узбеком, восседавшем на двухколесной телеге, запряженной осликом. Мы погрузили на телегу баулы, усадили Фиму рядом с белобородым узбеком, мама же категорически отказалась ехать, предпочитая идти пешком вместе с остальными. По дороге отец рассказал, что купил маленький однокомнатный домик с сарайчиком в крохотном дворике. Домик оказался глинобитным строением с земляным полом и с плоской низкой крышей, над которой возвышался прокопченный дымоход печи, занимавшей добрую четверть комнаты. Как

оказалось, впоследствии, крыша эта имела обыкновение протекать в сезон дождей; вода размягчала глину, и она вываливалась внутрь дома, образуя дыры, через которые просвечивалось небо. Уже после ухода отца в армию мы зацементировали крышу и это защищало ее на какое-то время. Деревянная, сбита на скорую руку выкрашенная в красный цвет дверь, выходила во внутренний дворик, окруженный глинобитным забором – дувалом с проемом для калитки. В доме царил полумрак – единственное небольшое окошко без форточки пропускало мало света, электрического освещения не было, его заменяла керосиновая лампа, зажигавшаяся еще до наступления сумерек. Во дворе рядом с сарайчиком «красовалась» полуразрушенная низкая кирпичная печь, которой пользовались круглый год, исключая зиму, для приготовления пищи. В наследство от старых хозяев нам досталась металлическая двуспальная кровать с ржавой пружинной сеткой и маленький деревянный стол. Мама пришла в ужас, увидев то, что отец называл домиком, и что скорее походило на сарай. Поплавав немного, она начала приводить комнату в порядок, и вскоре вымытая и очищенная от мусора, она обрела жилой

вид. Для больного Фимы организовали какой-то топчан; ложем для всех остальных должна была служить одна единственная кровать.

— В дверь постучали. На пороге стоял невысокий плотный скуластый мужчина восточной внешности с абсолютно гладкой как яйцо головой. Из-за его спины выглядывал похожий на него мальчик моего возраста.

— Салам алейкум, соседи, как устроились? — Обратился мужчина к отцу и не дожидаясь ответа, отметил, — вижу, вижу — для вашего положения — совсем неплохо. Меня зовут Эльдар Ахмерович Ахмеров, меня здесь все знают, мой дом за вашим забором. Это мой сын — Ильяс — средний; а вообще-то у меня их семеро сыновей. Пришел познакомиться и узнать, может что нужно.

Он говорил правильно, почти без акцента, и если бы не внешность, вполне мог бы сойти за европейца.

— На нашей улице, продолжал он, — живет только одна русская семья — из раскулаченных, люди озлобленные, мы с ними не контактируем. Я сам казанский татарин, учился в русской школе и нашими друзьями всегда были русские, думаю — мы с вами тоже подружиться. Откуда приехали? — Поинтересовался он. — С Украины? Приходилось бывать. Сколько же времени вы были в пути? Более месяца?! Ай-ай — ай! Намучились, наверное? Теперь, слава богу, — все уже позади. Здесь, в Кермине, придете в себя, осмотритесь и обживетесь. И еще вот что, я, собственно, пришел пригласить вас к нам сегодня на обед. Вы ведь давно, я думаю, не ели горячую пищу, а жена моя готовит так, как могут готовить только татары. Кроме того, вы ведь еще не успели запастись продуктами. Так что обед будет для вас кстати. А за обедом мы и познакомимся поближе. Ильяс зайдет за вами. У меня во дворе собака, но она на привязи, так что не бойтесь. Через час-полтора мы ждем вас.

— Как же мы пойдем к ним, — забеспокоилась мама, едва пришедшая в себя после посещения неожиданного гостя, — на кого мы оставим Фиму?

— Это нужно, — тоном, не допускающим возражения, сказал отец. Нам обязательно нужно познакомиться с соседями, они могут оказаться очень полезными для нас. Нам ведь многое нужно узнать: где здесь больница и аптека, как вызвать врача, где можно устроиться на работу, где записать Абрашу в школу и

многое другое. Они, похоже, здесь живут давно и их советы будут для нас не лишними. Что касается Фимы, то Абраша посидит с ним.

— Не хочу сидеть с ним, хочу идти с вами, — закапризничал я, но отец был непреклонен, и я остался.

После ухода родителей к соседям я решил осмотреться. Наш дворик, который торцом своим смотрел на высокий глухой забор местной тюрьмы, был крайним в ряду домов на улице. Слева от него располагался пустырь, на котором были свалены деревянные ящики разной величины. На некоторых из них были отбиты доски, и в образовавшиеся щели можно было разглядеть каменные скульптуры, неведь как попавшие сюда. Задняя стена нашего дома выходила на другую параллельную улицу, соседствовавшую с неглубоким каналом, — сухим летом и заполненным водой в период дождей. За каналом начиналось песчаное предгорье, плавно переходящее в горный массив, величественно возвышающийся над местностью. Предгорье казалось безжизненным, полностью лишенным растительности. Время от времени в разных местах возникали небольшие смерчи, поднимавшие в воздух сухой кустарник, траву, песок и мусор — бумагу, тряпки и щепу. Было интересно наблюдать, как огромный хобот смерча вбирает в себя все это, увеличиваясь в размерах и становясь все более темным; его верхушка словно живое существо, изгибаясь и вращаясь, казалось, осматривает окрестности, выявляя места, которые следует почистить. Впечатляли горы. Глядя на них, я испытывал непреодолимое желание немедленно отправиться к этим изумительно красивым творениям природы, посмотреть на них вблизи и подняться на одну из вершин, чтобы открыть для себя новый мир,

новые таинственные земли, простирающиеся за этим горным массивом, непохожие на все то, что я видел перед собой. Мне представлялось, что там, на вершине я почувствую себя птицей, парящей над землей, властелином вселенной. Искушение было велико и я, словно загипнотизированный, преодолев канал, пошел навстречу горам, до которых, казалось, рукой подать, однако, чем больше я шел, тем дальше они отдалялись от меня. Спихватился, когда понял, что прошел очень приличное расстояние. Забеспокоился и оглянулся, чтобы удостовериться в том, что дорогу назад я еще смогу найти. И тут то, что я увидел сзади себя, заставило меня остановиться и застыть: на расстоянии десяти – пятнадцати метров стояло, высоко подняв большую голову с широко открытой пастью, существо, похожее на огромную ящерицу. Время от времени оно, как заведенное, либо подгибало передние лапы, и тогда его голова опускалась почти до земли, либо поднималось и вытягивалось вперед, широко открывая свою пасть, показывая тем самым свои отнюдь не добрые намерения. Оно не двигалось с места и издавало приглушенные звуки. Вначале мне даже показалось, что я вижу крокодила. Поразмыслив немного, решил, что в горах крокодилу взяться вроде бы неоткуда, а, приглядевшись к нему, понял, что в его пасти нет зубов и что хвост этого существа совсем не аллигаторский, и, хотя меня это наблюдение несколько успокоило, испугался я не на шутку. Этим чудищем оказался варан – безобидное существо, воинственная поза которого выполняла своеобразную защитную функцию. Я обошел варана и прытью пустился домой. К счастью родители еще не успели вернуться, а Фима спал, мирно посапывая. Родители вернулись домой не с пустыми руками. Кроме еды для меня и Фимы, соседи снабдили их продуктами, кастрюлями, какими-то лекарствами и

одеялом. Из разговоров родителей между собой я понял, что соседи оказались гостеприимными и участливыми людьми, готовыми взять на себя опеку над нашей семьей, по крайней мере, на время, пока мы не станем здесь на ноги. Ахмеров обещал отцу помочь с устройством на работу и выполнил это обещание: отец был принят на работу охранником на хлопкоочистительном заводе. Мы с Ильясом подружились, и он начал знакомить меня с соседскими пацанами, предупреждая их о том, что обида, нанесенная мне, будет рассматриваться им, как собственная обида. Как выяснилось позже, с Ильясом никто не решался заводитьсь, поскольку его братья, известные как отпетые драчуны, никому спуска не давали. Однажды Ильяс предложил сходить с ним к его отцу на работу. Эльдар Ахмерович работал заведующим продовольственной базой, снабжавшей тюрьмы и лагеря для заключенных в округе. База располагалась в огромном пакгаузе на железной дороге и была забита мешками с мукой, бочками, ящиками и картонными коробками. В центре пакгауза высилась гора вяленой рыбы, запахом которой, казалось, пропиталось все, что здесь находилось. На вершину этой горы можно было забраться по пологому деревянному настилу. Ильяс показал мне, что с этой горы можно скатываться, как с горы снежной: он поднимался по настилу наверх, усаживался на припасенную им для этой цели доску и скользил вниз. Его отец, выделявший Ильяся в своей большой семье, снисходительно смотрел на все проделки младшего сына. Уходя домой, Ильяс всегда нагружался сумкой с продуктами. Делалось это совершенно открыто, как нечто само собой разумеющееся. Иногда что-то перепадало и нам, особенно после ухода отца в армию. Нам выдали продовольственные карточки, по которым мы получали хлеб, муку и сахар. Овощи, фрукты иногда молоко покупалось на рынке. Рынок в Кермине в годы войны производил впечатление барахолки, где эвакуированные продавали, большей частью безуспешно, свои носильные вещи, предметы обихода и драгоценности. Из-под полы продавались дефицитные лекарства, продовольственные карточки, а также продукты питания, отсутствующие в свободной торговле. Узбеки привозили на рынок овощи и фрукты, а также молочные продукты; изредка в продаже появлялись тушки молодых барашков. Прямо на земле располагались продавцы табака для кальянов и высушенных маленьких полых тыкв, служивших своеобразными табакерками для особо любимого узбеками табака, закладываемого под язык. Круглый год на рынке продавались разного сорта изюм и урюк. Рынок был местом встреч, где обменивались новостями, а также центром притя-

жения для подозрительных личностей, воров, карточных шулеров, нищих и инвалидов, только что вернувшихся из госпиталей. Вся эта пестрая публика постоянно конфликтовала между собой, так что драки и поножовщина были обычным для того периода времени делом. Другим центром притяжения неизменно являлся вокзал. Туда к приходу поездов приходили люди в надежде встретить кого-либо из знакомых или родственников, а то и просто поглазеть на проезжающую публику.

Здесь в Кермине все было необычно: язык, на котором местные жители общались между собой, палящее солнце, глинобитные дома и заборы, колоритный рынок, фрукты, ранее не виденные мною, люди, облаченные в любое время года в теплые халаты, подпоясанные платками, арыки, могучие тенистые платаны, ишаки почти в каждом дворе, оглашающие своим «Иа-иа-иа!» всю округу, караваны

верблюдов, навьюченные тюками с хлопком, горы белоснежного хлопка – сырца на территории хлопкоочистительного завода, днем и ночью издающего глухой рокот, ящерицы, змеи, большие кузнечики с крыльями всех цветов радуги. Все в поселке было заполнено звуками. Грохот проезжающих поездов, гудки паровозов и лязг буферов вагонов, мерный рокот завода, заунывное пение муэдзина, призывающего правоверных на молитву, пронзительные крики ишаков, перекличка собак, ночной вой шакалов – все это создавало своеобразную симфонию, воссоздать которую вряд ли смог бы какой-нибудь композитор. Каждый день я делал для себя какое-нибудь открытие. Выяснилось, что на привокзальной площади есть клуб, одноэтажное барачное здание, в котором время от времени демонстрировались фильмы, привозимые кинопередвижкой. Вход был платный и мы, пацаны, смотрели эти фильмы из недостроенной будки киномеханика, в которую можно было забраться по лестнице с улицы. Проблема заключалась в том, что в этой киноподке пол не был настлан, были лишь деревянные балки, и нужно было, балансируя, как канатоходец, пройти по ним до стены с прорезями для кинопроектора и, стоя на цыпочках, смотреть на экран, время от времени уступая место другому, также желающему приобщиться к искусству кино. До сих пор не могу понять, как это никто из нас ни разу не свалился с этих балок вниз на кучу битых кирпичей. Своеобразным промыслом у детей и взрослых являлась заготовка на зиму топлива. Мы прочесывали железнодорожные пути в поисках выпавшего из тендера паровоза куска угля. Иногда удавалось принести домой полведра антрацита. Большой удачей считалось найти доску или сломанный деревянный ящик. Основным же видом топлива служил «утун» – низкорослый кустарник, росший в предгорье. На его заготовку отправлялись, как правило, большими кампаниями, вооруженными кетменями. Рубка высохшего за лето кустарника, цепко державшегося своими корнями в земле, было нелегким делом; заготавливать его нужно было много, так как горел он как солома и сгорал быстро. Поработав интенсивно кетменем, мы возвращались к вечеру навьюченные огромными связками «утуна», усталые, но довольные выполненной работой. Менее трудоемкой, но спортивно захватывающей и состязательной была заготовка верблюжьего кизяка, прекрасного топлива. Иногда недалеко от наших домов в предгорье останавливались на ночь верблюжьих караваны, и тогда мы, мальчишки, направлялись на свой промысел. Перебегая от одной кучки верблюдов к другой, мы собирали еще влажные глянцевые твердые какашки, похожие по форме на украинские пампушки да простят меня гурманы за такое сравнение. Сопровождающие караван, седобородые узбеки, усевшиеся, в круг на отдых с мундштуками кальянов во рту, беззлобно покрикивали на нас, когда мы чересчур близко подходили к их тюкам, а верблюды, беспрестанно жующие свою жвачку, поворачивали к нам свои морды с оттопыренными раздвоенными губами, обращая на нас взгляды, полные презрения и одновременно грусти. Собранные кизяки мы сушили на плоских крышах сараев, а то и просто на улице. В поисках неубранных кустов гузапайи (хлопчатника), тоже замечательного топлива, приходилось многократно прочесывать хлопковые поля на значительном отдалении от станции. Время от времени мы занимались разгрузкой железнодорожных вагонов, снизу доверху заполненных большими тяжелыми желтыми пли-

тами прессованного жмыха хлопковых семян – отходов маслобойни, получая в качестве платы за этот

изнурительный труд несколько таких плит, горевших ничуть не хуже угля. После нескольких недель адаптации к новым условиям жизни родители записали меня в школу, и в один из октябрьских дней я, вооруженный одной единственной тетрадкой, фаянсовой чернильницей в холстяном мешочке и перьевой ручкой, в сопровождении моих новых друзей направился к одноэтажному зданию школы, располагавшейся на противоположной окраине Кермине.

Глава 4. Школа

Приземистая, барачного вида, школа находилась на пустыре за кирпичными домами поселка, в котором жили семьи специалистов – работников хлопкоочистительного завода. Пустырь, видимо, предназначался для застройки новыми домами, однако война помешала этим планам, и теперь школа и соседствовавший с ней детский сад сиротливо выделялись на его краю. Впрочем, здесь располагался плац для занятий с допризывниками – фанерные щиты с изображениями немецких солдат, полоса препятствий, окопы и брустверы. В одном из таких окопов нашла себе пристанище молодая совершенно седая женщина, потерявшая рассудок, поразительно красивая, несмотря на рубище, в которое она была облачена. У нее не было вещей, лишь дно окопа было устлано какими-то тряпками, на которых она спала. Она не просила подаяния, но люди время от времени приносили ей еду и воду. Утром, идя в школу, мы проходили мимо ее окопа, и она улыбалась нам какой-то вымученной улыбкой, совершенно не соответствующей взгляду испуганной и измученной женщины. Удивительно, но дети не смеялись и не дразнили ее, даже когда она обращалась к ним, говоря что-то несурзкое, или когда пела, вычесывая густым гребнем вши на клочок бумаги. Я не видел этого, но говорили, что она их ест. Мы привыкли к ее присутствию и были страшно удивлены, когда однажды ее не стало. За годы войны мне довелось видеть много изувеченных в боях и бомбежках людей – безногих, безруких, со страшными следами ожогов на лице, слепых с пустыми глазницами, но никто из них не произвел на меня столь ужасающего впечатления, как та безумная высокая красавица, сохранившая, несмотря на свое безумие стать и красу.

Учительница ввела меня в класс и усадила за парту рядом с каким-то высоким мальчиком, постоянно ерзавшим на скамье.

– Это новичок, – сказала она, – он с Украины, на перемене познакомитесь.

– А как его зовут? – Спросил кто-то.

– Ну, выйди сюда и назови свое имя и фамилию, – обратилась ко мне учительница, показывая на место у доски.

Я вздохнул, поднялся и вышел вперед. На меня смотрели кто с любопытством, кто насмешливо два десятка разного возраста ребят.

– Моя фамилия Шарнопольский и звать меня Абраша, – картавя, произнес я, и тут же услышал хохот класса. Смеялись все, громко и добродушно

– Абгаша, ха-ха-ха. Абгаша – манная каша. Абгаша, абгаша!

– Ну хватит! – Прикрикнула на них учительница. Тихо! Что тут смешного! Имя как имя. Абрам, Авраам. Я когда –нибудь расскажу вам историю этого имени. Это будет очень интересный рассказ. Кстати ты сам-то знаешь, почему тебя так называли? Нет? А что ты знаешь? Что умеешь? Сейчас проверим, как ты читаешь. Возьми эту книгу и прочти вот этот отрывок.

Это был Гайдар – «Тимур и его команда», который был мной читан, перечитан много – много раз.

– Читать с выражением? – Спросил я учительницу.

– С выражением, конечно, – улыбнулась она и озорно подмигнула.

Я начал читать «с выражением», меняя интонацию в тексте от автора и в диалогах персонажей. У меня это получалось, видимо, неплохо, потому что класс слушал

мое чтение внимательно, не перебивая. Учительница спохватилась, когда я дошел до конца главы.

– Молодец, – похвалила она, – хорошо читаешь. А как пишешь? Возьми мел и напиши на доске следующее предложение.

Под ее диктовку я написал короткую фразу, сделав в ней несколько ошибок.

– Да, читаешь ты несравненно лучше, чем пишешь. Ошибки грубые. А почерк! Придется тебе основательно заняться чистописанием. Садись. Арифметику проверим в другой раз. Так, учебников у тебя конечно нет. Будешь пользоваться библиотечными или, если кто-нибудь согласится, его учебниками.

.... На перемене ко мне подошло несколько мальчишек, завязался разговор, обычный для случая первого знакомства. Почти все они были физически более развиты, чем я.

– Какая кличка была у тебя там, на Украине? – Поинтересовался кто-то.

– Какая кличка, – не понял я, – что такое «кличка»?

– Ну как тебя звали пацаны на улице и в школе? Не Абрашей же.

– Абрашей, – подтвердил я. – Не было у меня клички. И зачем она мне, если есть имя, – искренне недоумевал я.

Ребята переглянулись между собой, а затем устремили на меня взгляды, выражавшие неприятие непонимания мной очевидных и простых истин.

– Слушай сюда, – сказал один из них насмешливо, – у всех у нас есть кликухи, будет она и у тебя, хочешь ты этого или нет. Пацаны, как будем кликать его?

Долговязый парень, мой сосед по парте, стоявший рядом, взглянул на меня сверху вниз, затем, взяв за плечи, развернул меня в одну, а затем и в другую сторону.

– Бургун, – сказал он, обращаясь к остальным вопросительно. – Точно бургун.

– Бургун и есть, – подтвердил парень с белесыми глазами.

– Бургун, бургун, – одобрительно закивали остальные. – Теперь ты бургун.

Слова «бургун» я не знал и потому спросил долговязого:

– Что такое «бургун»?

– Бургун – это горбонос, – снисходительно объяснил он. – У тебя – то нос горбатый, понял?

Я потрогал свой нос, нащупал на нем небольшую едва заметную горбинку, и обиженно сказал:

– Я не горбонос и не бургун.

– Бургун, Бургун, – зашумели все. Ты теперь должен беречь свой бургун.

Предостережение беречь свой нос, как оказалось, имело вполне определенный смысл, и было далеко не излишним, потому что уже на большой перемене ко мне подошел улыбающийся паренек в клетчатой рубашке и предложил:

– Эй, Бургун, давай «стукнемся».

Он выглядел вполне миролюбиво и в его предложении я поначалу не увидел никакой угрозы, хотя сам смысл предложения был мне неясен. Я улыбнулся ему в ответ и извиняющимся тоном попросил его объяснить мне, что это означает. Он еще шире улыбнулся, хлопнул меня по плечу и, приняв стойку боксера, просто сказал:

– Стукнуться – это значит подраться.

– Подраться? – Удивился я, а зачем, мы ведь с тобой не ссорились, я тебе ничего не должен, ты мне тоже. Я даже не знаю, как тебя зовут. Почему мы должны драться! Глупо драться без причины.

– Так ты же новенький, а каждый новенький должен с кем-нибудь стукнуться. Так у нас заведено. В этот раз твоя очередь стукаться. Мне сказали – Миня (меня зовут Миня), проверь этого Бургуна. Это, Бургун, твой первый экзамен здесь. Не станешь драться со мной, будешь драться с кем-нибудь другим. Нельзя не драться – сочтут трусом, и будут колотить тебя по случаю и без случая. А так, стукнешься, и тебя возьмут в нашу компанию.

Мне в мои девять лет еще не доводилось драться и поэтому я тоскливо смотрел на улыбающегося Миню, не представляя, как я это стану делать. Я, конечно, видел, и не раз, дерущихся детей и взрослых, но одно дело наблюдать за этим со стороны, другое – участвовать в драке самому. Даже наблюдая за дерущимися людьми, я испытывал страх – мне казалось, что драка

обязательно должна распространиться и на окружающих, поэтому я никогда не задерживался на месте, где она происходила. Сам вид дерущихся людей вызывал у меня отвращение – искаженные злобой лица, вытянутые напряженные шеи, расквашенные губы, кровоточащие носы, крики и ругань, порванная одежда. Жуть... Миня ждал ответа, а я никак не мог собраться с духом, чтобы ответить ему. Подошли еще ребята, среди них несколько незнакомых мне.

– Ну что, договорились? – Спросил коренастый смуглый парень, сверкнув металлической коронкой на переднем зубе и, не дожидаясь ответа, продолжил:

– Как будете драться – по любви или по злости? Вероятно, ни Миня ни я зло не выглядели, поэтому коренастый, внимательно оглядев нас, распорядился:

– Будете драться по любви.

Я не знал, что значит драться по любви, но, рассуждая логически, решил, что в любом случае это лучше, чем драться по злости. Стало чуть легче, и, хотя я чувствовал, что мой внешний вид, не выдает во мне бойца с хорошими бойцовскими качествами, я бодро произнес:

– Стукаться, так стукаться, по любви, так по любви.

– Ты-то хоть знаешь, как дерутся по любви, – спросил коренастый.

– По любви – это до первой крови. Как у кого пойдет кровь из носу или, допустим, губу расшибет, так драке и конец. Понял?

– Понял, – упавшим голосом едва слышно ответил я.

– Ну, так начинайте, – последовала команда.

...Мы стояли, друг напротив друга и Миня ждал, когда я начну, я же ждал первых действий Мини, мои руки стали тяжелыми, словно налились свинцом, на лбу выступила испарина. Миня, видя мое состояние, никак не решался первым ударить меня. Окружавшие нас ребята зашумели и стали покрикивать:

– Миня, врежь ему под дых! Ну, давай! Ну! Чего ты ждешь?

Понукаемый пацанами, Миня лениво толкнул меня в грудь. Я чуть отступил и виновато улыбнулся, руки мои по-прежнему висели вдоль туловища как плети.

Ну, Бургун, ну давай! – Умоляюще просил Миня.

Он снова толкнул меня, и я вновь отступил на полшага. Это стало его сердить, и он толкнул меня уже двумя руками, а затем нанес удар, который пришелся в плечо. Плечо заныло, и я инстинктивно потрогал его ладонью, и – вовремя, поскольку

рука, потянувшаяся к плечу, отразила очередной удар Мини, который постепенно входил в раж. Его удары становились все более и более чувствительными, а один из них едва не сбил меня с ног. Вдруг я почувствовал соленый привкус крови во рту, щека горела, как если бы ее опалило огнем. И тут я взорвался. Не соображая, что делаю, я бросился на обидчика и стал беспорядочно наносить ему удары, размахивая руками, как ветряная мельница. Не ожидая такого напора, Миня стушевался, и я, воспользовавшись временным замешательством противника, боднул его головой в лицо. Удар пришелся Мине не по вкусу, и бой закипел с новой силой. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы нас не разняли. Когда меня оттаскивали от орущего Мини, я изловчился, пнул ногой его и еще того, кто скрутил мне руки. Итог поединка был плачевен: разбитый нос у меня (предостережение не помогло), опухшая губа и порванная рубашка у Мини. Я еще не успел отойти от возбуждения, когда ко мне подошел коренастый подросток, и вlepил мне затрещину.

– За что? – Заорал я, ринувшись к нему. Однако меня вновь схватили за руки.

– Тебе было сказано – до первой крови, – объяснил коренастый, – ты же, после того, как тебе Миня разбил нос, снова полез в драку. А это не по правилам. А так, – он оглядел меня, словно увидев впервые, – ты – ништяк, дрался неплохо.

– Пацаны, – обратился он к ребятам, продолжавшим держать меня за руки, – отпустите его и уложите на землю – видите, у него еще кровь идет из носу. Намочите тряпку холодной

водой и приложите к его носу. А ты, Миня, приложи к губе вот это. И он протянул ему большой складной металлический нож.

– Конечно лучше бы медяк, – продолжил он, да где же его взять.

У меня был пятак, который я нашел на улице пару дней тому назад. Однако дать его Мине, моему врагу, разбившему мне только что нос, Мине, колотившему меня без зазрения совести и оравшему на меня, как на врага народа, казалось верхом безрассудства. Через минуту, тем ни менее, я уже благородно протягивал Мине большой медный пятак. Впоследствии мы с ним, став друзьями, часто вспоминали, смеясь, этот поединок. Это была первая, но, отнюдь не последняя драка. Ко мне стал задиаться живший неподалеку от нас подросток, крепкий полноватый узбек, вечно ходивший босиком. Его черные от грязи огрубевшие ноги резко контрастировали со стеганым халатом, под которым ничего, кроме широких полотняных штанов с закатанными штанинами, не было. На нашей улице среди пацанов он утвердился как самый сильный борец, побеждавших всех. На русском языке он разговаривал с трудом, хотя матерился и на русском, и на узбекском мастерски. В своем желании подтвердить свое лидерство, он и его окружение постоянно провоцировали кого-нибудь на борьбу с ним. Не обошли своим вниманием и меня. Я столкнулся как-то с Керимом (так звали его), возвращаясь из школы, когда он шел по улице, широко расставляя ноги, в сопровождении ватаги ребятшек, таких же босоногих, как и он. Увидев меня, они остановились, и Керим поманил меня рукой. Я стоял на некотором отдалении от него и внимательно рассмотрел его. На вид ему было лет 17-18, хотя, как впоследствии оказалось, ему еще не исполнилось 15-ти. Распахнутый халат обнажал его мускулистую грудь, в сильных загорелых руках он держал согнутый пополам кожаный ремень. Держа его перед собой, он то сводил, то резко разводил руки, производя этим щелкающие звуки, похожие на удар кнута.

– Ты, малый, – Сказал Керим, обращаясь ко мне, – давай поборемся.

Я был ему по грудь, он был вдвое шире меня, и его предложение побороться я воспринял как шутку.

– Может быть потом как-нибудь, когда я немного подрасту, – засмеялся я.

Но Керим не принял моего отказа.

– Давай поборемся, – Повторил он свое предложение, не давая мне пройти мимо него.

– Ты что дурной что ли, – недоумевал я, – ты же вон, какой громила, меня одним пальцем свалишь. Если тебе так хочется бороться, иди на вокзал, там много таких, как ты.

– Не надо вокзал, – Отмахнулся Керим, – зачем вокзал, тут бороться будем. Тут хорошо, земля мягкая, не больно падать, – и Керим посмотрел на ступни ног, утопавшие по щиколотку в дорожной пыли. – Давай, а?

Я отрицательно покачал головой.

– Ну, давай я буду одной рукой бороться, одной левой.

– Как, – Не понял я, – а куда ты вторую руку денешь?

– А мы ее поясом к боку привяжем, – и Керим, опустив руку, прижал ее к телу, показывая, как это будет выглядеть.

Я с сомнением посмотрел на возвышающегося надо мной Керима. Было страшновато, но вместе с тем и очень соблазнительно показать себя отчаянным парнем, не побоявшимся выступить против «самого» Керима, что надолго избавило бы меня от драк и побоев и закрепило бы за мной репутацию «своего парня».

– Ладно, – С угрозой в голосе, – согласился я.

– Привязывайте ему руку, только покрепче, я сам проверю.

Пояс с трудом сомкнулся на выпуклом животе Керима, безразлично наблюдавшим за этой операцией.

– Ну-ка попробуй вытащить руку, – Предложил я ему.

Керим простодушно дернул рукой, и она легко выскользнула из-за пояса.

– Нет, так дело не пойдет, – возмутился я, – нужно привязать руку веревкой. Давайте ищите веревку.

– Ищите, – Скомандовал Керим, и пацаны бросились врассыпную.

Принесли веревку, и я собственноручно спеленал его ею так, что витки этой веревки опоясали его тело от пояса и чуть не до плеч. Пока я пеленал Керима, он безропотно сносил мои приготовления и лишь тогда, когда, упершись одной ногой в его бедро, пытался с усилием затянуть и завязать узел, Керим беззлобно прикрикнул на меня и потребовал, чтобы я ослабил веревку. Закончив работу, я посмотрел на Керима и не смог удержаться от смеха – уж очень комично он выглядел: в то время, как верхняя часть халата под врезавшимися в тело веревками плотно облегла его грудь, нижняя – растопырилась на бедрах словно пышная юбка, и, будь халат чуть подлинней, Керим в этом одеянии походил бы на куклу-матрешку, которой покрывают чайники во время заварки чая. Робко засмеялись и остальные, Керим, тоже поддавшись общему настроению, улыбаясь, повилял бедрами и покружился, словно демонстрируя новый наряд, чем вызвал новый взрыв смеха. Закончив кружиться, Керим посерьезнел и предложил начать. Все обступили нас так, что мы оказались в центре круга. Керим сделал шаг по направлению ко мне, вытянув свободную руку в намерении схватить меня. Я

прыгнул в сторону, и рука Керима повисла в воздухе. Сделав полуоборот, он снова попытался дотянуться до меня, но и на этот раз я повторил свой прием. Я понимал, что не должен позволить Кериму ухватить меня, поэтому я плясал вокруг него, как боксер, уклоняющийся от ударов более сильного противника. Керим попытался сделать подсечку ногой, но я был начеку, и Керим промахнулся. В следующий раз, когда тяжело дышащий Керим вновь попытался сделать подсечку, я ответил ему тем же, нанеся удар по щиколотке, в момент, когда поднятая им нога устремилась в мою сторону. Потеряв равновесие, Керим рухнул на бок, подняв облако пыли. Какое-то время ранее непобедимый борец собирался с мыслями; для него, как и для меня случившееся было полной неожиданностью. Ребята помогли ему подняться, и через минуту схватка возобновилась с новой силой. На этот раз Керим был более осторожен, он внимательно следил за тем, какие кренделя выписывают мои ноги в пляске вокруг него. Я же следил за тем, чтобы его рука постоянно находилась на безопасном расстоянии от моего тела. В какой-то миг я потерял бдительность, и Кериму удалось схватить меня за рубашку. Я инстинктивно отпрянул назад, раздался треск рвущейся рубашки и тут я услышал злорадный голос, неведь каким образом оказавшегося поблизости Фимы:

– Ага, рубашку порвал, рубашку порвал, мама узнает-будет тебе!

Меньше всего мне хотелось, чтобы эту схватку видел кто-нибудь из нашей семьи – и надо же! Фима, однако, никуда не побежал, а продолжал с интересом наблюдать за борьбой, заложив руки за спину. Брат никогда не был ябедой, но когда мне или Евочке грозила, как ему казалось, какая-нибудь опасность, будь то лай собак или приближение пьяных людей, он немедленно устремлялся домой, чтобы позвать на помощь. Он еще ни разу не видел меня в потасовке, и потому смотрел на происходящее с огромным интересом и вниманием. Мне удалось вырваться из рук Керима ценой порванной рубахи и предстоящей взбучки от родителей. Керим был явно раздосадован тем, что ему никак не удастся использовать свои приемы и свое очевидное преимущество более сильного и опытного борца. Он вновь устремился ко мне, размахивая своей вытянутой рукой. Я поднырнул под нее и оказался за его спиной. Было большим искушением пнуть ногой в его необъятный зад, но я сдержался и подмигнул Фиме – мол, знай наших. Фима, однако, никак не отреагировал на мое обращение к нему, зато друзья Керима отреагировали на мои выкрутасы возгласами одобрения, они явно «болели» за меня, забыв о своем друге и протее. Я же, чувствуя их поддержку, осмелел и вновь попытался свалить Керима подсечкой, но он, опередив меня, ударом ноги поверг навзничь, а затем, проявив завидную прыть, в мгновение ока навалился на меня всем телом, фиксируя явную победу. С самого начала у меня не было ни малейшего шанса победить, но несмотря на свой проигрыш,

я вышел из этой схватки достойно, оказав, несмотря на отсутствие опыта, серьезное сопротивление гиганту Кериму. Когда мы поднялись, раздался дружный смех: вывалившись в дорожной пыли, мы обрели довольно комичный вид. Смеялись все, в том числе и мы с Керимом, не смеялся только Фима, на глазах у которого стояли слезы. Он жалел меня, проигравшего Кериму, жалел брата, которому предстояло получить сполна и за участие в борьбе, и за порванную рубаху и выпачканную одежду, а также за плохой пример, который я подаю младшим.

Слух о моей борьбе с Керимом дошел и до школы. Я почувствовал это по тому вниманию к себе, которым окружили меня мои сверстники в классе и вообще в школе. Мне наперебой стали предлагать разного рода услуги, угощали фруктами и монпансье, кто-то подарил мне тетрадку, купить которую можно было только на рынке и за немалую цену. На второй день после борьбы ко мне подошел Егор – тот самый крепыш с фиксой во рту, который верховодил в школе.

– Ну, как Керим? – Спросил он, сплюнув сквозь зубы. – Побил его?

– Нет, – честно признался я, – это он побил меня. Да и по-другому быть не могло – какой я, а какой он.

И я показал габариты Керима, широко разведя руки, как показывают размер пойманной рыбы. Это признание, как и то, что я ни одним словом не обмолвился в оправдание об отсутствии борцовского опыта, произвело на Егора впечатление, и он, похлопав меня по плечу, произнес:

– Бургун, хорошо, что не стушевался и полез в драку, хорошо, что не задаешься и не берешь на себя лишнее, не хвастаешься, значит. Будешь в нашем «кодле» – нам такие нужны. Тебе скажут, где мы собираемся после школы, придешь?

– Приду, – твердо пообещал я, обрадовавшись тому, что меня признали за своего.

– А почему не спрашиваешь, зачем мы собираемся и что делаем? – Прищутив глаза, спросил Егор.

– Чего зря спрашивать, сами скажете, если будет нужно, – резонно рассудил я.

Егор одобрительно кивнул, сплюнул и легко ткнул меня кулаком в плечо.

– Ну, дуй в свой класс.

Вечером Миня привел меня в пустующее полуразрушенное глинобитное строение на краю железнодорожной станции, ранее принадлежавшее стрелочнику. В маленькой комнате с облупленными стенами, исписанными ругательствами, в полумраке на полу сидело около десяти человек, дымивших самокрутками и внимавших словам выделявшегося крепким телосложением крупного наголо обритого мужчины лет 25-ти. На нас с Миней никто не обратил никакого внимания, лишь Егор, сидевший рядом с бритоголовым, взглядом указал нам на место в углу. Вслед за нами в помещение вошел еще один парень, неся на вытянутых руках лепешки и какую-то еду, которую поставил на расстеленную перед бритоголовым газету. Бритоголовый засучил рукава и стал есть. Даже в полумраке я разглядел, что его руки до локтя покрыты татуировкой: на левой руке клинок, обвитый змеей, на правой – обнаженная женщина. Поев, он вытер губы тыльной стороной ладони и хмуро спросил у Егора:

– Что это за малец пришел с Миней? Кто его сюда звал? На кой хрен?

Он грязно выругался и продолжил:

– Хули ты самовольничаешь ..., у тебя мозги есть?

Слово мозги он произнес с ударением на «о».

– Ты еще из детского сада писунов приведи. Ты глянь на него – на что он годится такой хилак?

– Я его позвал, – не отводя взгляда от бритоголового, ответил Егор. Сам же велел приводить нужных пацанов. Бургун не хилак, и не смотри, что он мал, он с Керимом боролся. Не каждый пойдет на это, ты же знаешь Керима – он ведь запросто кого хошь придушить

может. А Бургун его не забоялся. Потом он не болтун, язык за зубами держать умеет. Нее, Бургун свой кореш.

– Ну смотри Егор, на твою ответственность, поглядим, какой он в деле, – поднимаясь с пола, сказал бритоголовый и поманил паренька в мятой грязной рубашке, сидевшего у двери. Он что-то долго полупшепотом сердито выговаривал ему, поминутно сплевывая сквозь зубы на пол. Паренек молча слушал бритоголового, согласно кивал опущенной головой и когда тот закончил, пообещал:

– Гад буду, завтра принесу.

В подтверждение серьезности обещания паренек выполнил клятвенный ритуал, который часто использовался блатным народом: ногтем большого пальца он ковырнул передний зуб, словно собираясь выдернуть его, а затем прочертил этим же пальцем полосу на горле, как бы подтверждая готовность положить свою голову, в случае невыполнения им обещания. Удовлетворившись услышанным, бритоголовый обратился к мальчишкам с наставлением:

– Я говорил, и еще раз, может быть, в последний, хочу напомнить – здесь забудьте о маме и папе. Слово «здесь» он произнес с ударением. Эта хибара, конечно, не ваш дом, ваш дом, где вы спите, но я ваш пахан; все, что я от вас требую должно выполняться без вопросов и лишних слов. Все, о чем мы говорим – не для чужих ушей, язык держите за зубами, кто бы вас, о чем ни спрашивал. И не бойтесь никого, я вас всегда защищу, да и вы сами можете постоять за себя. Нужно, чтобы боялись нас. Будут бояться – мы здесь будем хозяевами, не менты, не те фиксатые, что со свинчатками и финками по базару шатаются, они только с виду страшные, а так – в основном на понт берут. О нас они уже немного знают и держатся поодаль. Со временем и они придут к нам, а мы еще поглядим, брать их к себе или послать их к ёб. матери. Если узнаете, что они обдирают тех, кто нам платит, сразу же ко мне. О каждом новом, что появится в нашей зоне, тоже сразу ко мне. Завтра мы работаем с картежниками и наперсточниками. Не трогайте только безногого, который у входа обычно сидит. Его мать еще одну похоронку получила; теперь только он один в семье кормилец. С деньгами знаете, что делать – в общаг. С сегодняшнего дня деньги будут у Лехи.

Бритоголовый накинул на голые плечи услужливо поданный кем-то пиджак и, смачно сплюнув сквозь зубы, распорядился:

– Леха, тащи пацанам жратву.

Родителям я, разумеется, ничего не сказал о том, где был и с кем виделся, прекрасно понимая, какую реакцию это могло бы вызвать. У меня появилась тайна и мне очень хотелось, несмотря на запрет, поделиться ею с кем-то, рассказать, похвастаться, что принят в компанию подростков, значительно старших меня, занятых очень серьезным и далеко не детским делом. Я тогда не представлял себе, насколько опасным и чреватым возможными последствиями могло бы стать мое активное участие в деятельности этой, как сказали бы сейчас, преступной группировки, тем более, что, как оказалось впоследствии, рэкет был не единственным и не самым впечатляющим видом ее деятельности. К счастью, это все прекратилось в связи с неожиданным исчезновением бритоголового после того, как в хибаре, в которой мы встречались, был найден труп обнаженной молодой девушки, изнасилованной и убитой, по-видимому, бритоголовым. Лидера, способного заменить бритоголового, в нашей группе не нашлось, и она распалась к несказанному удовольствию конкурентов. Несмотря на это «слава» о наших

«деяниях» еще долго следовала за нами, оберегая нас и меня, в частности, от хулиганских разборок. Что касается школы, то даже преподаватели не то, чтобы заискивали перед нами, но определенно закрывали глаза на многие наши проделки и выходки. Нам сходило с рук такое, за что других исключили бы из школы. Как-то в школе появился новый учитель, раненный и контуженный в боях. Одетый в военную форму, он вошел в класс, прихрамывая и опираясь на узловатую трость. Хмуро оглядев нас, он положил трость на стол рядом с классным журналом и с трудом опустился на стул. При этом лицо его побагровело и приняло мученическое

выражение. Двумя руками он поправил под столом не сгибающуюся ногу так, что ботинок оказался в промежутке, разделявшим стол и первый ряд парт. Этот ботинок с полу истертой подошвой, нелепо торчащий как бы сам по себе перед столом, и гримаса, исказившая лицо учителя, вызвали смех у части ребят. Не поняв причину веселья, учитель оторвал взгляд от журнала, огляделся вокруг, в надежде найти возмутителя спокойствия и, не найдя такового, недоуменно уставился в класс. Его щека дергалась, и дети, решив, что он, включившись в игру, подмигивает, разразились громовым хохотом. Реакция учителя была неожиданной. Схватив трость, он хватил ею об стол с такой силой, что чернильница взвилась в воздух и, описав дугу, опустилась на одну из парт. В классе воцарилась зловещая тишина. Какое-то время учитель приходил в себя и, видимо, устыдившись своего порыва, стал оправдываться, ссылаясь на контузию. Он рассказал о том, что был контужен, отражая психическую атаку фашистов, шедших как в кино – в полный рост с автоматами, стреляя от бедра. Рассказывая об этой атаке, он как бы заново переживал тот день.

– Представляете, дети, – плача говорил он, – мы их убиваем, а они, как саранча идут и идут на наши окопы и все ближе и ближе. У нас винтовки, у них автоматы; они что-то орут: то ли поют, то ли ругаются, из-за грохота не разберешь. Один фриц – здоровяк ввалился в мой окоп и набросился на меня, и хотя был он пьян, как извозчик, возможно, одолел бы меня, если бы рядом не взорвалась граната и не прикончила его. Тогда – то меня и контузило. Я с трудом выбрался из-под него. Хочу встать – и не могу, нога не слушается. Смотрю – от колена и до ступни кровь, то ли моя, то ли фрица. Начал ощупывать: осколок гранаты торчит чуть ниже колена. Поначалу боли я не ощущал, даже попытался осколок этот вытащить, но не успел: ранило меня вторично. Очнулся в госпитале. С тех пор нога не сгибается и голову часто ломит. Как найдет что-то, так она просто раскалывается на части. Он снова поморщился, и щека его задергалась.

Немного успокоившись, он вымученно улыбнулся и, как бы невзначай сказал:

– А знаете, ребята, до войны я был классным футболистом. Мечтал попасть в институтскую сборную. Война проклятая все поломала. Теперь уж не побегаю. А как хочется, вы даже себе представить не можете. Это я только с виду старый. Мне ведь только 21 год, я даже семьей не успел обзавестись, и, – он грустно усмехнулся, – уже, видно, не обзаведусь. Кому нужен инвалид, да еще такой, как я, у которого что ни день то голова раскалывается, то припадки, как у эпилептика. Знаете, кто такой эпилептик? Он помолчал, ожидая реакции.

– Лучше вам этого не знать и не видеть. На меня влияет все. Я не жалею, просто заранее хочу, чтобы знали и не пугались, если со мной в классе случится припадок.

Чаще всего это бывает, когда понервничаю, – он энергично потер виски и продолжил,

– Поэтому прошу вас не испытывайте мое терпение. А уж если случится припадок, то в это время меня лучше не трогать, сам отойду. Ясно? Он повысил голос и еще раз повторил: Ясно? А теперь продолжим урок.

Продолжить, однако, ему не дали. Посыпались вопросы о войне, о немцах, об их зверствах, о партизанах, информация о которых только-только стала появляться. Интересовались, где его ранило, где лечился. И, хотя большинство вопросов были искренними, часть из них носила провокационный характер, нацеленный на то, чтобы сорвать урок. Такие попытки продолжились и в последующие дни. Учителя прозвали «Рупь пять». «Рупь пять негде взять, надо заработать» – так дразнили хромоногих. Вначале он не обращал на это внимание, наивно полагая, что нас действительно интересуют его рассказы о войне, о его переживаниях, о его тяжелой личной жизни после возвращения из госпиталя. Когда в классе стало твориться что-то невообразимое, когда в открытую ребята стали демонстрировать неповиновение и пренебрежительное отношение к нему, когда в ходе объяснения урока ученики начинали ходить по классу, гроыхать крышками парт и громко смеяться, «Рупь пять» начинал раздражаться, впадать в неистовство, и, выбрав наиболее хулиганистого, как ему казалось, ученика, начинал

гоняться за ним, громко крича, перемежевывая свои гневные высказывания матерными словами. «Обидчик» же вел свою игру – он то давал учителю возможность приблизиться к нему, то, лавируя между партами, увертывался от палки, которой, потерявший контроль над собой, «Рупь пять», пытался достать его. Оканчивалось это все тем, что обессиленный и тяжело дышащий учитель возвращался к своему столу и, уронив на столешницу голову, разражался глухими рыданиями.

Сейчас, спустя почти 60 лет, я задаюсь вопросом, почему, дети, сами жившие тяжелой жизнью, часто недоедавшие, нередко лишенные теплой одежды или обуви, дети, чьи отцы и старшие братья воевали, получали ранения и порой погибали, проявляли такую, мягко говоря, черствость к человеку, чья нелегкая боевая судьба должна была бы вызывать противоположные чувства. Ответ на свой вопрос я нахожу в предположении, что война, лишив детей родительской ласки, опеки и внимания, ожесточила их характеры, чему не в малой степени способствовала окружавшая их обстановка. Не случайно военные годы породили довольно большое число малолетних преступников, детей со сломанными судьбами, промышлявшими кражами, попрошайничеством и обманом.

Война не война, а школа жила своей жизнью – уроки, перемены, самокрутки в уборной, разборки. Неожиданно куда-то исчез «рупь пять», видно не выдержал нашего буйного характера. В школе не очень сильно нагружали нас, большую часть так называемых домашних заданий мы успевали делать в классе, так что дома свободного времени было много. Я еще в Ильинцах пристрастился к чтению (читать-то я начал с пяти лет), читал все подряд, без какой-либо системы и очень страдал, когда читать было нечего. В школе обнаружилась библиотека, ютившаяся в маленькой комнатке, в которой книги были свалены в стопки, часть из которых была перевязана бичевой. Похоже, что с тех пор, когда их перевезли откуда-то, никто библиотекой не занимался. Я испросил разрешения заходить в эту комнату с тем, чтобы навести в ней маломальский порядок; валяющиеся на полу книги

больно резали мне сердце. С тех пор, как я начал читать, книга была для меня живым существом, она говорила со мной, поверяла свои тайны, учила жить. У каждой книги было свое лицо и свой характер – с одними мне было легко и приятно, с другими интересно. Иные, от которых веяло аристократичностью, раздражали своим выпендренным слогом и длинными рассуждениями. Бережно беря книгу в руки, я любовно поглаживал ее корешок и обложку, осторожно открывал ее, пробовал на ощупь бумагу и радовался, если она отсвечивала гляncем и содержала иллюстрации, расстраивался, увидев порванную или испачканную страницу. Чем толще была книга, чем больше она весила, тем приятней было держать ее в своих руках; такая книга грела душу и вызывала нестерпимое желание окунуться в ее содержание. Не удивительно, что моими первыми книгами, прочитанными в войну, были именно такие толстые, большого формата, главным образом переводные. Однажды, когда я зашел в класс с очередной толстой книгой, моя классная руководительница поинтересовалась, что я собираюсь читать, взяла у меня книгу и, посмотрев на обложку, спросила, кто посоветовал мне ее прочесть. Услышав, что я сам выбираю книги для чтения, усмехнулась и сказала, что эту книгу мне еще читать рано. Она велела вернуть книгу в библиотеку, однако я ослушался ее и был наказан – книгу я действительно не мог осилить. Книга эта называлась «Капитал» и написал ее некто по имени Карл Маркс.

Глава 5. Военное лихолетье

Зима 41—42 годов в Кермине оказалась очень холодной. Пару раз выпадал даже снег, резко контрастировавший с зеленью не опавших листьев. Старожилы не помнили таких зим, и связывали причуды природы с приездом в Узбекистан большого количества эвакуированных.

– Это вы привезли сюда снег и холод, – укоряли они нас.

Мама только разводила руками, слушая эти высказывания.

– Что они на нас взелись, – спрашивала она отца.

Отец устроился на работу охранником на хлопкоочистительном заводе, и я, нередко возвращаясь из школы, заглядывал к нему на пост. Чаще всего он дежурил у ворот, через которые на завод въезжали арбы и машины, груженные хлопком. Дорога к этим воротам была устлана ключьями хлопка – выбоины на дороге делали свое дело. Хлопок складировался на территории завода, и осенью там вырастали белоснежные горы необработанного хлопка-сырца, видные издали. Однажды отец, сменившийся после дежурства, показал мне завод. Мы прошли по всей технологической цепочке очистки хлопка от семян. Почти везде доминировали огромные пневмопроводы, по которым под действием сжатого воздуха перемещался хлопок.

– Поскольку транспортировка хлопка в этих пневмопроводах осуществляется с большой скоростью, – объяснял отец, – достаточно попасть в эти трубы даже небольшому камешку, что вполне реально, чтобы при трении этого камня о стенки пневмопровода он нагрелся до температуры, способной вызвать тление, а впоследствии и возгорание хлопка. Кстати, пожары на заводе были нередким явлением. Большая часть технологического процесса на заводе осуществлялась в замкнутых агрегатах и была скрыта от наблюдателя. Исключение составлял участок упаковки, где из чрева огромных прессов под грохот механизмов и пыление пневмоклапанов выскакивали аккуратные обвязанные проволокой и обшитые мешковиной тюки правильной кубической формы очищенного хлопка. Я смотрел как замороженный на этот процесс, не в силах осмыслить технологию автоматической упаковки. Рабочие, обслуживавшие прессы, заученными движениями легко, словно пушинку, устанавливали тюки на транспортер, уносивший их за пределы участка, где они погружались на железнодорожные платформы или вагоны. С процессом сбора хлопка я познакомился раньше. В годы войны, да и впоследствии в страдную пору сбора хлопка, фруктов и овощей учащих школ привлекали к «борьбе за урожай». Для нас эта «борьба» была желанной. Она избавляла от занятий, от необходимости что-то учить, зубрить, хотя не все зубрили, и отвечать педагогам. Зато провести день на поле или, особенно, во фруктовом саду или винограднике, было одним удовольствием. Конечно, собирать хлопок, извлекая его из раскрывшихся или полу раскрывшихся коробочек, или рубить гузапайю – кустарник, на котором вырастали эти коробочки, было делом нелегким, но зато по краям хлопкового поля рос паслен, и мы лакомились черными сладкими со специфическим привкусом маленькими ягодами, оставлявшими на руках и языке долго не смывающиеся чернильные пятна, что приводило маму в ужас. Она признавала только культурные ягоды, и паслен казался ей, если не

отравой, то, по крайней мере, не пригодной для еды, способной вызвать дизентерию или понос. То ли у нас были железные желудки, то ли паслен, действительно, был ягодой вполне съедобной, но никаких неприятностей он нам не приносил. Другое дело зеленый виноград. На уборку винограда нас привлекали уже после снятия первого урожая, когда нужно было собрать пропущенные в ходе первой уборки созревшие гроздья. Оголодавшие вследствие постоянного недоедания, мы набрасывались на первые попавшиеся нам гроздья, среди которых было много зеленых недозрелых ягод, которые мы заглатывали, не жевая. По иронии судьбы почти всегда на краю виноградника оставались недозревшие гроздья, но по мере продвижения вглубь наши корзины и желудки наполнялись сладким ароматным, пьянящим виноградом.

На следующий день наша неразборчивость выходила нам боком. Виноградник соседствовал с огромным фруктовым садом, где произрастали яблоки, персики и урюк. Огромные зеленого цвета с белыми пупырышками яблоки были тверды, как гранит, и безвкусны, зато неубранные персики, провяленные на солнце, были сладки и, хотя из сада и виноградника ничего не разрешалось выносить, мы находили способ, как это сделать. Виноградник и сад со стороны Кермине отделял глубокий арык, представлявший для похитителей серьезную преграду. Кроме того, все это тщательно охранялось конными объездчиками. Поскольку молодых объездчиков сразу призывали в армию, первые годы войны сад охранялся старыми, неповоротливыми и подслеповатыми узбеками, в какой-то мере сочувствовавшими эвакуированным. Эти пожилые люди предпочитали большую часть своего дежурства проводить под навесом, что позволяло нам, без опаски быть обнаруженными, выносить и прятать в укромном месте ворованные фрукты и виноград. Для чего, правда, следовало преодолеть арык в местах, где переправа была делом относительно легким. Педагоги, сопровождавшие нас во время работы в саду, делали вид, что не замечают грязные ноги, выпачканные в глине, во время переправы через арык, закрывали глаза на наши проделки и Наверное сами охотно воспользовались бы возможностью принести домой дармовые фрукты, если бы не боязнь уронить свой авторитет в глазах учеников. Через некоторое время мы возвращались за своей добычей с тем, чтобы порадовать ею семью. Ситуация изменилась в корне после приезда в Кермине крымских татар, депортированных за сотрудничество с нацистами в период оккупации немцами Крыма.

Именно тогда охрана виноградника и сада была поручена бригаде новоприбывших, состоявших из еще не старых мужчин, озлобленных и готовых выместить свои обиды на любом встречном. Их охотничьи ружья были заряжены патронами с зарядом соли. Когда созрел урожай фруктов, подростки начинали свой промысел, предваряя налет на сад изучением примерного графика перемещения конных охранников. Это позволяло проникать в сад в сумеречное время практически незамечено. Однако обратный путь, безопасный выход из сада не мог быть спрогнозирован, поэтому нередко, столкнувшись с объездчиками, ребята получали сполна. Многие из них были мечены рубцами – следами плетки, гулявшей по их спинам. Долгое время небольшой группе ребят, в составе которых был и я, удавалось избегать встреч с охранниками, не любившими шутить. Однако, однажды, во время одной из вылазок, мы все-таки нарвались на объездчика. Понимая, что наше спасение в арыке, куда из-за крутого берега лошадь не

спустится, мы ринулись вниз, не разбирая дороги. Призыв остановиться и предупредительный выстрел в воздух не возымели действия, и тогда охранник сделал несколько выстрелов в нашу сторону. И нужно было так случиться, что заряд соли достался самому меньшему и юркому из нас – брату, впервые ввязавшемуся в эту сомнительную акцию. Мне показалось, что крики Фимы, страдавшего от нестерпимой боли, достигнут отдаленных окраин Кермине. Я чувствовал себя виновным за то, что взял его с собой. Случись такое со мной, никто бы не узнал о происшедшем, однако Фима не мог не пожаловаться сердобольной маме, всегда находившей способ пожалеть и успокоить. Какое-то время Фима не мог ни сидеть, ни спать на спине, но даже когда боли прошли, он продолжал делать вид, что ему по-прежнему больно. И спустя много лет, он с видимым удовольствием, призывая меня в свидетели, повествовал о своем ранении, и рассказ его неизменно обрастал новыми не существовавшими в действительности деталями и подробностями. Делал он это так искренне, что тот, кому этот рассказ был адресован повторно по забывчивости, не высмеивал и не обрывал его, поскольку новая версия артистически исполненного рассказа неизменно вызывала интерес. Возможно, уже тогда в детстве формировался характер будущего режиссера, кем он и стал впоследствии. Говорят, что характер человека с годами почти не меняется. Фима являл собой пример человека, чей характер со временем изменился коренным образом. Из неуравновешенного, нервного, эгоистичного, обладавшего многими, удивлявшими всех, странностями ребенка, он превратился в доброго, отзывчивого и заботливого члена семьи, впитавшего в себя самые лучшие качества родителей.

Будучи высоконравственным человеком, он пронес эти качества через всю свою жизнь, чем снискал любовь и уважение многих, с кем он работал и дружил. Среди его друзей были многие известные актеры, режиссеры и общественные деятели, перечисление которых отняло бы массу времени. Вместе с тем, двух из них уместно упомянуть, хотя бы потому, что как они, так и он, оказали взаимное влияние друг на друга. Среди них – диктор Всесоюзного радио, голос которого был известен всем, без преувеличения, гражданам бывшего СССР, Юрий Борисович Левитан и легендарная разведчица, вошедшая в историю, Мария Фортус. О них и многих других, с кем свела его судьба, он написал в книге, вышедшей незадолго до его смерти. Даже будучи тяжело больным, брат много работал и помогал людям, за что в 2002 г. мэрия американского города Денвер, куда он с женой эмигрировал в 1993 м году, признала его Человеком Года. Фима еще подростком увлекался шахматами и немало преуспел в них. Он не достиг вершин в шахматной иерархии, однако играл и с Михаилом Ботвинником – чемпионом мира, и с Михаилом Талем, и другими выдающимися шахматистами мира, был чемпионом Туркестанского военного округа, где служил в армии, чемпионом Денвера и т. д. В Денвере он преподавал, пока мог, теорию шахмат в университете.

.... Разгром немцев под Москвой зимой 41 го года породил надежду на скорое окончание войны. Родители строили планы на возвращение домой в Ильинцы, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Весной 42 го отца призвали в армию.

– Что ж это будет, – сокрушался Ахмеров, пришедший проводить отца. – Если уже берут таких, как ты, раненных в первую мировую, дело плохо. Ай, как плохо. Мне

бы надо воевать, но у меня бронь. Ты. Иосиф, служи. За семью не волнуйся, мы поможем. Многого не обещаю, но пока работаю, дети твои голодными не будут. А ты. Гитл, (кстати, смени как-нибудь свое имя; когда его произношу, на языке проклятое имя Гитлер вертится), ты Гитл, не плачь. Иосифа на фронт не пошлют, сама понимаешь. Будет он где-нибудь в тылу служить, и вернется к тебе с почетом молодым и здоровым. И не стесняйся, если что нужно, заходи по-соседски, нет, не по-соседски, а по-родственному.

А ты. Иосиф, – наставлял он отца. – гляди там, не смотри на сторону. жена у тебя красавица. Моя, правда, чуть покрасивее будет, – пошутил он, но твоя... О-о!. где сейчас такую найдешь. Да... Береги там себя и знай – тебя здесь ждут, и твоя семья, и мы, твои друзья. Он достал из кармана портсигар, достал из него папиросу, смял пальцами мундштук, и, не закуривая, ни к кому не обращаясь, грустно спросил.

– Кто же теперь будет терпеливо выслушивать мою глупую болтовню? Когда мы еще с тобой поспорим, сидя на дувале? Нескоро, – грустно ответил он сам себе.

– Я своим азиатским умишком прикидываю, – в полголоса продолжил Ахмеров, – не скоро эта мясорубка прекратит перемалывать человеческое мясо. Немец, хотя и разбит под Москвой, по-прежнему силен. Сейчас на него вся Европа работает. Украина, Белоруссия. Балтийские страны под немецким сапогом. Ленинград в кольце. Кто бы мог подумать, что какая-то Германия сможет достичь такого успеха. И это при нашей-то самой сильной и непобедимой армии Товарищ

Сталин говорит: «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Я думаю, он знает, что говорит. Но почему он не говорит, когда это произойдет. Что? Ты говоришь – он не бог. Он не бог, но он Сталин! Мы конечно победим. И все же, – когда и какой ценой. Когда побежит фашист? Когда вернем утерянное? Вопросы, вопросы. И знаешь, все их задают. Не все говорят это вслух, но все об этом думают. Конечно, может именно сейчас готовится новое наступление, которое переломит ход войны. Но нам здесь это неизвестно. Я думаю, Иосиф, что в армии у тебя будет больше информации, и если об этом можно будет говорить, напиши. Хоп?

– Конечно. Конечно, – заверил его отец. я обязательно буду писать, хотя писатель из меня никудышный. А насчет перелома в войне, я так тебе скажу, дружище, – очень непохоже, чтобы он произошел в ближайшее время. Сводки Совинформбюро ты конечно слушаешь. Пока что

сообщения вроде «после продолжительных и упорных боев наши войска оставили...» звучат по-прежнему чаще, нежели победные реляции. И тот факт, что призывают людей с увечьями и в возрасте, как ты правильно заметил, свидетельствует и о больших потерях в нашей армии и о затажном характере войны. Я не знаю, где мне придется служить, но моя ненависть к фашистам так велика, что, несмотря на мое увечье, пошел бы на передовую. А что? Опыт у меня есть, в 14-ом я уже воевал с немцами.

При словах о передовой у матери на глазах показались слезы и она, всхлипывая, произнесла:

– Что ты, Иоси, говоришь! Какой фронт! Какая передовая! Тебе нельзя, ты ж знаешь. Ты не вздумай сам напрашиваться, а то с тебя станется. Подумай о семье, о детях. Нам и так будет нелегко, а мысль о том, что с тобой может, не дай бог, что-то случиться, сведет меня с ума.

– Ну что ты, Гителе, – отец привлек к себе маму и поцеловал ее.

– Не надо так волноваться. Ничего со мной не произойдет. И на передовую меня, как бы я не просился, наверняка не возьмут. Все будет хорошо. Вот увидишь. Я обязательно вернусь к тебе и детям, вы – моя жизнь, а жизнь – самая дорогая вещь в жизни, – философски закончил он.

– А ты, Абраша, – обратился ко мне отец, – ты старший в семье и ты, можно сказать, уже мужчина. Ты первый помощник маме. Заботься о ней, заботься о детях и не огорчай ее. Учись хорошо. Пиши мне, я буду рад получать твои письма. И еще. Мы договорились с мамой, что она займется фотографией – нужно же как-то на жизнь зарабатывать. Делать это она умеет. Я купил все необходимое для проявления и печатания. Фотоаппарат есть, пластинки, бумага тоже. Но ей нужен будет помощник, и здесь я тоже надеюсь на тебя: ведь ты не раз помогал мне в этом. Возьми на себя также отоваривание хлебных карточек. В магазине всегда большие очереди, а у мамы не будет времени выстаивать в этих очередях. Я не успел сделать одну вещь – зацементировать крышу. Пока еще не было сильных дождей, но на потолке уже появлялись мокрые пятна. В сильные дожди крыша может протечь, имей это ввиду. С цементом... Ну я не знаю. Где-нибудь найдешь, ... Соседи помогут, – и отец вопросительно посмотрел на Ахмерова.

Тот молча кивнул. Отец отдал еще несколько распоряжений, взял вещевой мешок, собранный накануне мамой, и мы все пошли на вокзал, где был организован сборный пункт для мобилизованных.

...Через полмесяца мы получили письмо от отца, в котором он писал, что находится на формировании в городе Карши в Каракалпакии. В письмо была вложена фотография, которое храню всю свою жизнь – отец в военной форме осунувшийся, с опущенными плечами. Евочка, избалованная вниманием отца больше, чем мы с братом, ощущала его отсутствие в доме. Не понимая, что произошло, она часто спрашивала, когда придет папа, и, доставая фото отца, гладила его лицо своим маленьким пухлым пальчиком, целовала фото и не расставалась с ним даже в кровати. У мамы прибавилось хлопот в доме, откуда-то появилась швейная машина, которая по вечерам тархтела, как пулемет – выполнялись чьи-то заказы. Иногда мама вооружалась фотоаппаратом и уходила фотографировать, часто беря меня с собой. Мне запомнилось посещение лагеря для политических заключенных, где их фотографировали для документов. Я, естественно, знал, что все они преступники, и ожидал увидеть врагов, злобных и страшных внешне людей, какими их изображали на плакатах и карикатурах, и нередко описывали в газетах и книгах, пройдя через проходную лагеря, я жался к матери, испытывая робость. Велико же было мое удивление, когда я увидел обычных и улыбчивых людей, большей частью пожилых, как мне показалось, проявлявших ко мне, мальчишке, повышенное внимание. Со мной заговаривали, интересовались нашим довоенным прошлым; нашлись земляки из винничины. Они особенно радовались встрече с нами. Их, естественно, интересовало все, что в той или иной мере было связано с местами их молодости, прежней работой

и их прошлой жизнью. Некоторые обратились к маме с просьбой отправить письма своим родным и близким. Один из заключенных, наголо обритый высокий и тощий мужчина, обратился к маме на идише.

– Ду редст аф идиш? – тихо спросил он маму, когда все разошлись.

– Йо, – подтвердила мама. Далее последовал разговор на идише.

– Я слышал ты с Украины. Знаешь ли ты что-либо о том, что там творится? Какова судьба тех евреев, которым не удалось убежать? Я спрашиваю об этом потому, что после моего ареста и ареста жены дети остались в семье сестры жены. У этой семьи не было никаких шансов эвакуироваться, поскольку их связывала парализованная мать мужа сестры. Это означает, что они остались там, и их жизнь в опасности; ведь даже сюда в лагерь доходят слухи о зверствах немцев на оккупированных ими территориях. Насколько эти слухи справедливы? Я бессилен что-либо предпринять, меня постоянно преследуют дурные мысли, отчего я здесь себе просто места не нахожу. У вас там, на воле больше возможностей получить нужную информацию. Мы же лишь по отношению к нам со стороны конвоиров можем догадываться о том, что происходит на фронте. Чем хуже положение красной армии, тем жестче и безжалостней отношение к нам. Ведь мы – политические, «враги народа» и, стало быть, именно мы – «немецкие шпионы и их пособники», повинны в неудачах на фронтах. Посмотри на меня. Я похож на шпиона? Еврей – немецкий шпион! Бред! Меня, правда, не обвинили в шпионаже, иначе я бы сегодня не разговаривал с тобой. Обвинили же меня в том, что будто бы я знал и не сообщил о связях моего начальника – редактора районной газеты – с немецким агентом. «Немецкий агент» – он же давний житель нашего города, родившийся в нем, портной, услугами которого пользовались если не все, то, по крайней мере, многие. Он, побывавший незадолго до ареста в Германии у своих родственников, был в дружеских отношениях с редактором. С арестом портного, начались аресты тех, с кем он общался, а общался он, естественно, со многими. Арестовали и меня и мою жену. Для меня до сих пор загадка, чем жена – то провинилась. Ведь она у него ничего не шила, поскольку делала это сама, и можешь поверить мне, достаточно профессионально. На допросах мне сказали о том, что редактор, кстати, тоже еврей, признался в том, что помогал «шпиону», снабжая того секретной информацией. Он же, по словам следователя, показал и мою причастность к этому. А теперь я спрошу у тебя: какой секретной информацией, представляющий интерес для Германии, может располагать журналист районной газеты? Ответь мне. Ну? Не можешь!

Несмотря на дружелюбие заключенных, меня до конца пребывания на территории лагеря не покидало ощущение настороженности и даже брезгливости – мне было неприятно, когда кто-то обнимал меня за плечи или трепал мои волосы. Только много позже я понял, что проявление повышенного внимания ко мне было вызвано ностальгическими воспоминаниями этих людей о своих семьях и детях. В окрестностях Кермине было несколько лагерей. Один из них обслуживал хлопкоочистительный завод. Жители Кермине часто бывали свидетелями тщательной проверки на заводских воротах автомашин, груженных хлопком. На машину взбирались охранники, вооруженные длинными металлическими стержнями с заостренными концами, которыми они прощупывали содержимое кузова. И все же, несмотря на высокие заборы, обнесенные колючей проволокой, сторожевые собаки по периметру забора и жесткий контроль въезжающих и выезжающих автомашин, случаи побега были. Жители узнавали о них по появлению на железнодорожной станции и в ее окрестностях поисковых групп вооруженных военных, патрулей и милиционеров, которые обычно не очень баловали своим вниманием жителей. Милиционеры обходили дома и

предупреждали об опасности общения с подозрительными людьми, потенциальными преступниками, способными на все – жестокими и безжалостными. Население призывалось немедленно сообщать властям при их появлении. Страху нагонялось немало и потому родители в такие дни старались удержать детей дома. К счастью ничего страшного не случилось,

и через день- другой жизнь возвращалась в обычное русло. Вместе с тем события такого рода всегда обрастали слухами и легендами. Находились люди, утверждавшие, что случайно стали свидетелями душераздирающих сцен насилия и жесткости сбежавших преступников по отношению к случайным людям, оказавшимся на их пути. Рассказывали также, что на пойманных лагерников натравливали собак, их избивали до полусмерти и окровавленных с изодранной одеждой чуть ли не волоком доставляли в лагерь. Что с ними делали в лагере в назидание другим, можно было только догадываться. Любопытно, что население в большинстве своем не испытывало по отношению к этим несчастным заключенным сочувствие и жалость. Скорее, наоборот. Что касается детей, то все, что они слышали о заключенных в школе, дома и на улице, формировало в них крайне негативное отношение к этой категории людей. Мой рассказ ребятам о своих впечатлениях от посещения лагеря, о заключенных – обычных людях, скучающих по своим семьям и работе, вызвал в них огромное разочарование. Такое же чувство испытал я значительно позже – в 45-м году при близком знакомстве с немецкими военнопленными, оказавшимися несколько сентиментальными, доверчивыми и добродушными людьми, совершенно не похожими на тех фашистов, которые изображались в фильмах, рассказах и в газетных статьях. Помнится, тогда я для себя решил, что – да, есть среди немцев нормальные люди, вроде тех, с которыми мне тогда довелось пообщаться, но в массе своей – они все же фашисты, не люди. Должно было пройти немало времени, чтобы понять, насколько в жизни все неоднозначно, понять, насколько важно научиться самому анализировать и делать выводы, не полагаясь на общепринятые, кажущиеся логичными концепции и подходы, насколько важно абстрагироваться от устоявшихся стереотипов. Но в детском возрасте, когда весь мир делится на плохих и хороших, когда сам мир – это добро и зло, именно стереотипы формируют детское сознание, и тогда человек, сидящий в тюрьме, – это зло, враг, преступник; немцы – фашисты, злейшие враги, которых нужно убивать; армия, милиция, коммунисты, советская страна – сила, несущая человечеству добро и надежду. Все четко и ясно. Вот с такими представлениями проходило наше детство в военное лихолетье.

Фима, Евочка, я и Венерка в Кермине 1942 г.



Глава 6. Прощу, пане...

В апреле предгорье покрылось изумрудным травяным покровом, расцвеченным пятнами желтых и красных тюльпанов. Земля, словно понимая, что вот-вот жаркие лучи солнца безжалостно отнимут накопленную за зиму влагу, спешила напоить ею рвавшуюся к свету и солнцу растительность, так необходимую населявшим ее насекомым, пресмыкающимся и птицам. Мы, дети и подростки, проводившие значительную часть времени в тесных, неудобных и душных классах, стремились вырваться на природу, ощутить себя ее частью, вобрать в себя пьянящие ароматы гор и, забыв об уроках и домашних заданиях, почувствовать себя свободными и независимыми. В горы нас влекла еще и жажда приключений, ибо с горами были связаны разного рода легенды и рассказы, в которых, разумеется, было больше вымысла, нежели правды. Среди прочего ходили слухи об огромных более метра черепахах, способных, если их нагрузить, перемещать тяжести. Говорили об оружии, оставшемся там со времен басмачества, о пещерах, хранивших тайны и многое другое. В горы в одиночку не ходили, поэтому время от времени собиралась группа ребят, среди которых обязательно оказывался один или два опытных следопыта, знавшие тропинки, и умевшие разбираться на местности. В одной из таких групп численностью в 10—12 человек оказался я и Фима. Я не был новичком в таких походах, потому что не раз и не два промышлял поиском черепах, которые мы обменивали на консервы у польских солдат армии Андерса, одна из частей которой формировалась у нас в Кермине. Польские солдаты, которым приедалась армейская пища, сплошь состоявшая из американских консервированных продуктов – гуляшей, ветчины, тушенки, яичного и картофельного порошка готовили себе в тайне от своих командиров супы из мяса черепах, считавшегося деликатесом. Мы же делали свой маленький и достаточно выгодный бизнес, в душе посмеиваясь над солдатами, любившими есть черепах и говоривших на русском языке с ужасным и смешным акцентом. Они отдавали честь, прикладывая два пальца к козырьку конфедератки – традиционного польского военного головного убора и величали друг друга: «Пан Юзек, пан Влодек, пан офицер». Пребывание поляков в Кермине – это часть истории этого небольшого городка, которая началась в один прекрасный день, когда на железнодорожную станцию прибыл эшелон с семьями польских евреев, бежавших от нацистов. Вначале поляки нашли убежище сначала в западных областях Украины, затем в России и, наконец, волею каких-то чиновников, управлявших процессом эвакуации, в Узбекистане, в частности, в Кермине. Уже с первых минут пребывания на станции, с момента их выгрузки из вагонов, они вызвали по отношению к себе резко негативное отношение со стороны местных жителей. До приезда поляков старожилы привыкли видеть в эвакуированных – тихих, скромных, не чуждающихся любой работы людей, страдающих не столько от неустроенности, сколько от неудобств, причиняемых местным. Эти люди привезли с собой малоприметный скарб и потеряли в войну своих родных, близких и знакомых. Новоприбывшие поляки, навьюченные огромными чемоданами, баулами и мешками, совершенно не походили на людей, убежавших от немцев. Складывалось впечатление, что они взяли с собой все, что только можно было – одежду, посуду, драгоценности, примусы, швейные машины и т. д. Один из них, видимо, зубной врач, умудрился привезти с собой бормашину с ножным приводом. Шумные и бесцеремонные, они едва не парализовали работу железнодорожников, заполонив собой и своими вещами подъездные пути, перрон вокзала и подходы к пакгаузам. Они отлавливали первого попавшегося им железнодорожника или милиционера, окружали его плотным кольцом и, бурно жестикулируя и крича, забрасывали огромным количеством вопросов и требований. Железнодорожники, в большинстве своем узбеки, которые и по-русски – то плохо разговаривали, не могли взять в толк, чего от них хотят эти странные люди, говорящие на каком-то непонятном языке. Не получив ответа на свои вопросы, поляки бросались к другому, к третьему железнодорожнику. В конце концов,

видимо, получив какие-то разъяснения и рекомендации, семьи одна за другой начали перемещаться за пределы вокзала и к концу дня от этой пестрой, походившей на цыганский табор толпы, не осталось ничего, если не считать кучи мусора на месте выгрузки поляков из вагонов. Мы, ребята, конечно же, не преминули возможностью порыться в этом мусоре и наши старания были вознаграждены разными находками. Я, например, нашел там жемчужное (а возможно и подделку под жемчуг) ожерелье, которое отдал маме, а также металлическую планку как бы состоящую из зубных коронок, которую отдал Фиме, любившему всякие блестящие штучки. Евочке досталась какая – то яркая детская игрушка. Никто из ребят, копошившихся в этих кучах, не ушел без находки. В течение некоторого времени, поляки ничем не напоминали о себе. Однако, вскоре на привокзальном базарчике стали появляться новые люди, напористые и нахальные, вытеснившие тех, кто делал свой небольшой бизнес скупкой и продажей носильных вещей. У «новых» дело было поставлено с размахом: вместо «торговых точек», местом которым служила земля, на которой были расстелены товары, как грибы стали расти прилавки. На них, вместо старых поношенных вещей, предлагавшихся прежними торговцами, были аккуратно выложены новые красивые, с заводскими ярлыками одежда и обувь, предметы домашнего обихода, посуда, бижутерия и др. В продаже появились невиданные доселе сигареты и сладости, шкатулки из пластика, тетради с глянцевой бумагой и с красочными обкладками и многое другое. Узбеки таращили глаза на все эти вещи, подолгу рассматривали и щупали одежду, цокали языками, выражая этим свое восхищение увиденным. Появился киоск, в котором продавался приготавливавшийся тут же напиток, по вкусу похожий на современный молочный коктейль. Лишь один раз довелось испробовать мне этот вкусный, красивого желтого оттенка, густой напиток, увы, недоступный многим из-за его дороговизны. Вместо безногого инвалида сапожника, чинившего обувь при входе на базарчик, поляки построили мастерскую, в которой работало несколько человек, делавших на заказ и ремонтировавших старую обувь. Узбеки, носившие и зимой и летом сапоги, буквально заваливали мастерскую заказами, тем более, что владельцы мастерской умудрялись добывать настоящую хромовую кожу, мягкую как шелк. Недалеко от нашей кибитки поселилась пожилая полячка, шившая пользовавшиеся у узбеков спросом цветные стеганные ватные одеяла. Материал для одеял поставляли мы, мальчишки, находившие выброшенное тряпье, которое она тщательно отбирала, отстирывала, резала на нужные ей по размеру и форме куски и сшивала таким образом, чтобы получился пестрый мозаичный узор. В качестве ваты использовался хлопок, который тоже подбирался нами по пути следования арб, перевозивших собранный хлопок. Рассчитывалась старуха с нами леденцами – красными петухами на палочках, которыми она также торговала. Для изготовления леденцов она использовала специальные формы, сахар же получала в рамках натурального обмена за одеяла. Вообще говоря, сахар продавался по продовольственным карточкам, однако узбеки находили какие-то обходные пути его приобретения без ограничений, как, впрочем, и другие нормированные продукты. Несмотря на прибыльный бизнес, старуха была невероятно скупа: один леденец можно было заработать, сдав 10 кг тряпок, которые она взвешивала на старых рычажных весах. Если до требуемого веса не хватало хотя бы пол килограмма, она выдавала леденец лишь после того, как доставлялось недостающее количество тряпок. Было противно иметь дело с этой вечно брюзжащей дурно пахнущей и крикливой старухой, боявшейся пускать нас в дом. Она всегда в любую погоду ходила в старом, заплятанном и лоснящимся халате, с оттопыренными карманами, прикрытыми шерстяным платком, которым она подпоясывала халат. Принимала она товар во дворе, скрытом от постороннего глаза высоким дувалом. Двор был уставлен ящиками, прикрытыми мешковиной, куда и складывался товар, то-бишь, принесенные тряпки. Леденцовые петухи она доставала из карманов халата, в которых хранился и мешочек с нюхательным табаком. Его запах я не помню, а вот вкус леденцов, приправленных пылью табака, сохранился в памяти надолго. Образ этой старухи со сморщенным лицом, на котором выделялась большая волосатая бородавка, ассоции-

руется у меня сейчас с образом гоголевского Плюшкина. Печатаю эти строки, я вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не помню польских детей! Не то, чтобы их не было. Наверняка были. Но вместе с нами в школе они не учились, в наши ребячьи компании не входили, с нами не дрались, что никак не вписывается в рамки общепринятых в те времена представлений о формах сосуществования. Трудно представить себе ситуацию, когда бы в детской и подростковой среде, состоящей из представителей разных социальных групп и национальностей, с разным уровнем развития и воспитания, не возникали бы конфликты. Возникали они и среди взрослых. Наиболее острым, перешедшим в погром, стал конфликт между поляками и русскоязычными жителями Кермине, а точнее теми, кто был вытеснен в результате «здоровой» конкуренции из торговли и сферы обслуживания. Началось все со стычки между подвыпившим одноногим инвалидом и поляком – продавцом, к которому инвалид обратился с просьбой дать ему деньги на «чекушку» водки. Получив отказ, инвалид огрел продавца костылем, на что, обозленный выходкой инвалида, продавец, молодой крепкий парень, выйдя из-за прилавка, нанес инвалиду такой удар, что тот рухнул и ударился головой о камень. Инвалид потерял сознание, камень, о который он стукнулся, окрасился кровью, и кто-то из толпы, окружившей упавшего инвалида закричал:

– Убили, Жору убили!

Раздались возмущенные голоса и крики:

– Наших бьют! Гады! Фашисты! Жидовье! Шакалы! Жидовские морды! Убирайтесь отсюда! Мы на фронте кровь проливаем, а они здесь нашу кровь пьют! Бей жидов!

Напряжение в толпе росло, к ней присоединялись все новые и новые любопытствующие. В какой-то момент крики Бей жидов! стали доминирующими и

обрели характер призыва к действиям. И действия не замедлили себя ждать. Толпа разделилась на несколько групп, каждая из которых, вооружившись камнями, досками и палками, стала крушить прилавки, предусмотрительно покинутые их владельцами. Разгром прилавков не погасил возмущения толпы, гнев требовал выхода, и он направил беснующуюся толпу туда, где можно было дать волю животным инстинктам, – к домам, в которых проживали польские евреи. Несколько таких домов соседствовали с нашим домом. Мы игрались на пустыре перед домом, когда показалась толпа человек в 30—35, потрясавших палками и металлическими прутьями и нестройно оравших:

– Бей жидов, спасай Россию!

В толпе не было узбеков, она сплошь состояла из небритых, в грязной одежде неопределенного возраста без определенных занятий русскоговорящих людей, большинство из которых не было продавцами, но постоянно «ошивалось» на рынке и на вокзале. Толпа проследовала мимо нас и направилась к двум домам, где жили польские семьи. Мы, мальчишки, естественно из любопытства пошли за толпой. Сначала в окна домов полетели камни, послышался звон разбитых стекол, не устояли под ударами и хлипкие двери, затем в дома стали врываться юркие парни. Вскоре из окон на улицу начали вылетать испорченные подушки, одеяла и кухонная утварь, а еще через какое-то время в проеме дверей стали появляться погромщики, неся в руках наворованную добычу. Их сменяли другие, также пожелавшие поживиться награбленным добром. Удовлетворившись содеянным, погромщики, один за другим, покидали разграбленные дома, унося с собой трофеи. К счастью, владельцы этих домов, видимо, предупрежденные о готовящейся акции, своевременно оставили их, забрав с собой наиболее ценные вещи. Поэтому жертв среди тех, против которых был обращен гнев толпы, не было, хотя, кто знает, как могло бы обернуться дело, окажись они дома. В Кермине проживало немало евреев, эвакуированных из Украины и западных областей России. Погром не коснулся их, и это могло свидетельствовать лишь о том, что в поляках они видели конкурентов и вообще людей пришлых. Эвакуированные же были как бы «своими», тем более, что они не противопоставляли себя коренным жителям, а их мужская часть либо воевала, либо работала. Жили эвакуированные бедно;

как и остальные, часами простаивали в очередях, отоваривая продуктовые карточки, делились с соседями, чем могли, помогали им присматривать за детьми и больными, когда это было нужно; дети дружили между собой, не делая различий по национальному признаку. Антисемитизм, конечно, время от времени проявлялся, для этого много не нужно было. Достаточно было кому-то попытаться без очереди получить хлеб или не уступить в цене, продаваемой по необходимости носильной вещи, как неизменно возникало:

– Вечно эти жидаы выгоду для себя ищут! Спекулянты проклятые, на нашем горе наживаются! и т. д.

«Прелесть» стояния в очередях я познал сполна. Занять место в очереди нужно было задолго до открытия магазина. Часто и после открытия приходилось стоять в утомительном ожидании, пока привезут и сгрузят хлеб. Желавших участвовать в разгрузке хлеба было, хоть отбавляй, поскольку они пользовались первоочередным правом получить свой паек. Иногда и мне удавалось вклиниться в эту команду. Заниматься выгрузкой хлеба было тяжело – не столько физически, сколько морально, поскольку ощущать запах переносимого в руках свежеспеченного хлеба для вечно голодного мальчика без возможности попробовать его на вкус, было настоящей пыткой. К моменту начала «отоваривания», очередь спрессовывалась до такой степени, что трудно было дышать. Однажды, чтобы не быть вытолкнутым из очереди, я ухватился за дверной косяк магазина, и, когда дверь открылась, мой палец оказался зажатым дверью. Я почувствовал дикую боль, усилившуюся тем, что очередь, подавшись назад, потянула меня за собой. Вначале я стеснялся кричать, но когда боль стала нестерпимой, я заорал так, что все в очереди буквально оцепенели. Мне помогли выволить мой палец, ноготь которого вскоре почернел и долгое время оставался таким. Помню, как-то за мной в такой спрессованной очереди стояла молодая женщина, от низа живота которой исходил такой жар, будто там размещался ядерный реактор. Мою спину буквально жгло, я, как мог, насколько это позволяла стесненность, менять свое положение, но женщина еще теснее прижималась ко мне, возможно получая какое-то удовольствие от этого. Сейчас-то я понимаю, что истосковавшееся по мужской ласке тело, таким образом реагировало на близость и слияние в тесной очереди двух тел, пусть даже одно из них принадлежало двенадцатилетнему мальчику. Из очереди, после получения пайка, я выбирался истерзанным, с драгоценным хлебом в высоко поднятых руках и зажатыми в кулак продовольственными карточками. В этих условиях было немудрено и потерять карточку, что к моему ужасу однажды и произошло. Пропажу я обнаружил, уже подходя к дому. Передав хлеб маме, я бегом бросился к магазину, питая слабую надежду на успех. Карточку, естественно, я не нашел, и мама, внутренне попереживав, купила на черном рынке новые карточки. Когда паек содержал довесок, я предательски съедал его, как бы компенсируя тем самым и долгое стояние, и духоту в очереди и другие неудобства, связанные с «отовариванием» продуктов. Нехватка хлеба иногда восполнялась лепешками, которые мама пекла из муки собственного помола. В качестве платы за фотографии, мама время от времени получала зерно, которое мы мололи на каменных жерновах у соседа – узбека. Жернова представляли собой два плоских неправильной формы цилиндра, насаженные друг на друга. Нижний цилиндр был неподвижен и содержал желобок, через который высыпалась мука; верхний можно было вращать вокруг оси, держась за деревянную ручку у края цилиндра. Зерно загружали в конусное отверстие у оси жернова. Крутить жернов было очень тяжело, и мы с мамой часто менялись местами.

За годы нашего пребывания в эвакуации Кермине не раз сотрясали разного рода события. Еврейский погром был лишь одним из эпизодов, оставивших глубокий след в моей детской памяти, но почти никак не сказавшимся на жизненном укладе населявшего его населения. Уже через неделю о происшествии никто не вспоминал; были ли наказаны зачинщики и исполнители погрома мне неизвестно, но на базарчике по-прежнему правили бал поляки, вновь возникали какие-то споры и разборки, но это никоим образом не влияло на их бизнес.

Другим событием, надолго запомнившимся всем, стало формирование польской армии Андерса. Уже в зрелом возрасте мне как-то в руки попался документ, озаглавленный «Постановление ГКО (Государственного Комитета Обороны) от 25 декабря 1941 г», в котором речь шла о формировании на территории СССР польской 96-ти тысячной армии. В соответствии с этим постановлением на территории Кермине должна была дислоцироваться 7-я дивизия этой армии. Совнаркомам Узбекской, Казахской и Киргизской ССР предписывалось в пунктах дислокации польской армии для размещения штабов, школ, лечебных заведений и общежитий офицерского состава предоставлять крытые, пригодные для жилья помещения, включая и школьные здания. Войсковые части польской армии должны были размещаться в палаточных лагерях.

В один из школьных дней наша учительница к вящей радости учеников, сообщила нам, что с завтрашнего дня на какое-то время занятия отменяются в связи с переездом школы в помещение бывшего детского сада, расположенного неподалеку. Нам предписывалось являться в школу, как обычно, но без тетрадей и учебников, для того, чтобы помочь в переезде. Оказалось, что школа, школьный двор и прилегающий к ним пустырь передаются в распоряжение командования формируемой польской армии. Мы засыпали учительницу вопросами, на большинство из которых ответа, однако, не получили. Интересовало нас, в частности, на чьей стороне будет воевать эта армия, кто будет ею командовать, почему именно у нас производится формирование, ведь численность поляков, проживающих в Кермине, не тянет даже на роту, чем будет вооружена эта армия, кто такой генерал Андерс и многое другое. Мы знали, что американцы должны открыть второй фронт, который оттянет часть немецких сил на себя; об этом много говорили, в том числе и в семьях, поэтому формирование польской армии как раз и связывали с возможным открытием второго фронта. Позднее, когда в Кермине появились польские солдаты, обутые в американские военные ботинки с толщенной подошвой и одетые в форму, полученную из Америки, когда польские офицеры стали разъезжать в «Виллисах», стало очевидно, что их готовят для включения в состав американских войск. В течение нескольких дней мы практически на руках перенесли в новое помещение школы оборудование физического и химического кабинетов, расставили парты, и у нас началась жизнь, полная новых впечатлений, увы, не связанных со школой. Находясь поблизости от нашей прежней школы, мы имели возможность наблюдать за всем, что происходило в ней и около нее. А там происходили разительные перемены: на пустыре на некотором отдалении от школы вырос палаточный городок для солдат с палаточным же костелом, в котором правил службу армейский капеллан. Собственно, сама служба проходила на плацу, где коленопреклоненные солдаты внимали своему пастырю, стоявшему на возвышении. Это же возвышение служило местом, где высшие офицеры принимали парад, когда к ним приезжал сам Андерс вместе с генералом Богушем, сопровождаемый свитой польских и советских офицеров. Я дважды наблюдал приезд генерала, и оба раза параду предшествовала церковная служба. Было смешно видеть, как мялись и переглядывались между собой наши офицеры во время службы, стоя на возвышении рядом с коленопреклоненным Андерсом и его свитой. В конце концов, они нашли решение, вытянувшись в струнку и взяв под козырек. Так вот они и стояли, пока шла служба. Обычно на этом плацу проходили и учения солдат: там они маршировали, собирали и разбирали винтовки, изучали противотанковые пушки и минометы. Стрельбища проходили далеко от школы, но звуки стрельбы доносились и до нас. Польские солдаты быстро освоились в Кермине. Находясь в увольнении, они делали свой гешефт. Видимо, опасаясь открыто заниматься торговлей, они заходили в дома, предлагая добротную военную обувь, прорезиненные бежевые плащ-накидки, консервы и даже жвачку. До появления поляков мы знали жвачку, которую получали у узбека-старьевщика в обмен на поношенную одежду или обувь. Его жвачка – куски разной по величине желтой, похожей на канифоль, смолы, была горькой, как полынь. Американская же жвачка – плоская и рифленая полоска, обернутая в фольгу, была сладкой и аромат-

ной. Американские консервы – гуляш в высокой цилиндрической металлической упаковке или тушенка в четырехгранной коробке, были снабжены ключиками-открывашками, на которые при их вращении наматывалась отрывающаяся от упаковки полоска металла, обнажая содержимое коробки. Ох, как были вкусны эти консервы! В те времена я не променял бы эти консервы с красочными наклейками, которые уже сами по себе возбуждали аппетит, на самые лучшие конфеты, если бы, конечно, они у меня были. Мама, умудрявшаяся выменивать у солдат консервы на сушеный урюк или изюм, варила из них такие блюда, что их можно было проглотить вместе с собственным языком. Я до сих пор удивляюсь тому, как маме одной в условиях военного времени, когда продукты питания были на вес золота, удавалось кормить нас троих детей. Мы, конечно, постоянно испытывали чувство голода, но в нас не было худобы, чего нельзя было сказать о маме, которая, даже похудев, по-прежнему оставалась красивой, следившей за собой женщиной, не пользовавшейся никакой косметикой. Какой-то сердобольный солдат по дешевке продал маме плащ-палатку, из которой она сшила прекрасный плащ, которым пользовалась и после войны. Через какое-то время чуть не половина мужского населения Кермине зимой щеголяла в американской обуви. Каким образом полякам удавалось раздобывать и продавать такое большое количество новой, не бывшей в употреблении, обуви, для всех, кроме самих поляков, оставалось загадкой. У солдат появились русские подруги, с которыми они проводили время и которым очень импонировало вежливое обращение к ним – Прошу, пане! Думается, что после отъезда поляков в Кермине осталось немало женщин, проливавших слезы из-за своего легкомыслия и доверчивости. Мы, мальчишки, быстро освоили польские ругательства, которые тем ни менее не смогли вытеснить из нашего лексикона русский мат, которым мы владели в совершенстве. Этот польский период времени в Кермине запомнился еще одним случаем, свидетелями которого мы стали случайно. Играясь, мы как-то удалились от жилья в сторону гор, и там метрах в двухстах от нас увидели небольшую группу вооруженных польских солдат, сопровождавших какого-то обритого наголо военного со связанными спереди руками. Обычно польские солдаты ходили без оружия. Мы же увидели перед собой солдат вооруженных, да еще и далеко за пределами места их дислокации. Это уже само по себе вызывало любопытство. Мы, было, приготовились последовать за ними, когда офицер, командовавший этой группой, и шедший впереди нее вдруг остановился, огляделся и отдал какой-то приказ. Группа остановилась; офицер, подойдя к человеку, взял его за связанные руки и повел за собой. Метров через десять они остановились, и офицер развернул его лицом к группе солдат. Затем, достав из кармана сигареты, прикурил одну из них и сунул ее в губы «бритого». «Бритый» сделал пару затяжек и выплюнул сигарету. Раздалась еще какая-то команда, слов которой мы не расслышали. Солдаты вскинули ружья, офицер махнул рукой, раздался залп, и человек со связанными руками, как в замедленном кино мягко опустился на землю. К нему подошел офицер и, видимо удостоверившись в его смерти, вновь что-то скомандовал солдатам, которые, развязав убитому руки, завернули тело во что-то и, взвалив его себе на плечи, понесли в сторону гор. Предали ли они тело земле или оставили его на растерзание шакалам мы, потрясенные увиденным, так и не узнали, поскольку идти за солдатами было страшно, да и вообще более разумнее было исчезнуть незамеченными. Что это было – самосуд или санкционированный расстрел, кем был этот человек, какое преступление совершил, навсегда осталось для нас загадкой.

Ничего еще не познавший в жизни, я – мальчик из скромной еврейской семьи, видевший смерть людей лишь в кино, не знавший других видов наказаний, кроме лишения возможности погулять и играть с друзьями, оказавшись невольным свидетелем расстрела человека в реальной жизни, в один момент стал другим, испытывавшим такой страх и такую боль, как если бы расстреливали меня самого. Не раз и не два будет преследовать меня эта картина расстрела незнакомого мне человека, не раз и не два будет сниться мне навесный этим событием один и тот же сюжет, в котором не кто-то, а я убиваю того самого польского солдата, хороню

его, и каждый раз испытываю животный страх от того, что могу быть разоблаченным. В каждом человеке есть чувство вины. Я ни в чем не был виноват перед человеком, которого лишили жизни польские солдаты. Возможно эти солдаты, впервые, а я в этом уверен, расстреливавшие живое существо – человека, и испытывали боль за содеянное. Возможно, эта боль каким-то образом передалась мне – очень впечатлительному мальчику, ставшему свидетелем казни. И эта боль долгое время выходила из меня, причиняя мне страдания. Прошу, пане Прошу, пане... Среди польских солдат была очень высокая смертность. Непривычные к узбекскому климату с его жарким летом и холодной зимой, поляки болели малярией и другими заболеваниями, страдали от жажды и, как ни странно, от недоедания. По-видимому, далеко не все имели возможность получать американские консервы в избытке.

Отсюда и обмен на продукты питания обувью, обмундированием, жвачками, солдатскими флягами и другим военным снаряжением. Впоследствии ходили слухи о том, что в наибольшей мере страдали от недоедания и плохого медицинского обслуживания поляки, считавшиеся сочувствующими советскому правительству. Прошу, пане... Прошу, пане.

В тот день, когда мы собрались в горы за тюльпанами, мама, очень неохотно разрешившая нам этот поход, напутствовала меня:

– Абраша, будь осторожен и смотри – ни на шаг не отпускай от себя Фиму. Ты знаешь, какой он у нас. Держись ребят. Вверх не лезь, даже, если ребята таки полезут туда – ждите их внизу. Смотри, чтобы я не волновалась.

Я заверил маму в том, что ей не о чем беспокоиться и что никаких происшествий в принципе быть не может, ибо в предгорье, где цветут тюльпаны, опасностей нет. В действительности же произошло то, чего никто не ожидал. Мы, конечно, с самого начала знали, что предгорьем дело не ограничится, и что основной целью нашего похода являлись горы. Подъем в горы был не сложным, хотя и продолжительным по времени. Вершина, до которой казалось рукой подать, по мере приближения к ней становилась все выше и дальше. Идти гурьбой становилось не удобно – мешали камни и осыпи. Мы перестроились и продолжали подниматься цепочкой по тропинке. Фима, не терпевший никаких ограничений, несколько раз оставлял тропинку, но каждый раз был вынужден возвращаться с ободранными в результате падений коленками. Сделали привал. Олег, возглавлявший группу, крепкий парень лет шестнадцати с наколками на пальцах рук, подозвал к себе Фиму.

– Смотри, пацан, – Закуривая самокрутку и цедя слова между затычками, с угрозой сказал он Фиме. Здесь горы, они баловства не любят, дури не прощают. Мы скоро поднимемся на вершину, на гребень. Там не разбежишься – места мало, – обрыв в глубокое ущелье. Одно неосторожное движение – и ты разобьешься о скалы. Поэтому, – повысил Олег голос, – будешь все время около меня, не спереди, не сбоку – сзади, за моей спиной. Смотреть под ноги, – продолжил свой инструктаж Олег, явно обращая его не только к Фиме. На отдельно лежащие камни не наступать. К краю обрыва не подходить. Что надо будет – покажу. Все.

– В ущелье будем спускаться? – спросил кто-то. Говорят, внизу есть пещеры и в них летучие мыши.

– Ага, – насмешливым тоном подхватил Олег. Там еще до сих пор басмачи прячутся, свои богатства хранят. И вообще – оружия в них видимо-невидимо. Хватит трепаться. Спускаться не будем – это не для нас: опасно очень. А восьмерку мы и сверху увидим.

Из рассказов Олега и других, ребят, уже поднимавшихся на вершину горы, мне было известно, что на дне ущелья огромными валунами выложена цифра 8. Кто, когда и с какой целью это сделал, не знал никто. Мимо этой восьмерки проходила тропа, достаточно широкая, пригодная для караванного пути. Собственно, восьмерка и была целью нашего похода. О ней так много говорили, она обросла таким количеством легенд, что не взглянуть на нее хотя бы сверху, было просто неприлично. По команде Олега мы вновь выстроились в цепочку, Фима, следуя полученным указаниям, послушно стал за Олегом, и через какое-то время вся

наша группа поднялась на гребень, действительно оказавшимся довольно узким. Мы, разгоряченные подъемом, стояли шеренгой на этом гребне, обдуваемые приятным прохладным ветром. За нашими спинами оставалось разнотравье предгорья, пред нами открывался фантастический вид на противоположный скалистый гребень, увенчанный зубцами, а под нами глубоко внизу виднелась серебристая тропа и..., казавшаяся даже сверху достаточно большой, восьмерка, внутри которой вполне могла бы разместиться грузовая машина. Мне с моего места была видна лишь часть этой восьмерки, и, чтобы разглядеть ее лучше, я сделал шаг вперед к краю обрыва. Я даже не услышал предостерегающий окрик Олега, как, поскользнувшись на камне (а я был обут в сандалии на кожаной подошве, хорошо скользившей на камнях), потерял равновесие, упал на спину и медленно заскользил по пологой части гребня к его краю. Раскинув руки в стороны, я пытался ухватиться за что-нибудь, но меня продолжало нести вниз. Испуга не было, – он пришел позже, когда все уже было позади, было лишь острое стремление затормозить и остановить скольжение. Я ничего и никого не слышал, если не считать шуршания мелких камней подо мной. Я бы наверняка упал и разбился, если бы не куст миндаля, невеста каким образом оказавшийся на пути моего скольжения и остановивший мое падение. Видимо так было угодно судьбе, чтобы именно на этом месте, на скалистом грунте, где по определению ничто не могло расти, вырос куст, спавший мою жизнь. Я не помню, как и с чьей помощью, смог подняться на площадку гребня. В памяти остался страх, охвативший меня и мысль о том, как отреагирует мама на порванные при скольжении брюки. Помню – ноги мои дрожали, и я какое-то время не мог не то что идти, стоять не мог. Напуганный происшедшим, Олег не стал задерживаться на гребне и скомандовал спуск. Спускались мы тоже цепочкой, я шел за Фимой, который, отведя руку за спину, держал мою руку, словно опасаясь повторения случившегося. Впрочем, через несколько минут, когда закончился крутой участок пути, оставил меня и вновь принялся бегать и скакать по траве. Я не любил вспоминать это происшествие, Фима же и в зрелом возрасте, при случае, очень живо описывал это событие, наворачивая на него придуманные им подробности. Впоследствии я поднимался на гребень горы не раз и не два. Горы настолько захватили меня, что, став взрослым, я прошел все главные перевалы Кавказа, поднимался на Гергетский ледник, на Эльбрус и другие вершины, заразил горным туризмом всю свою семью, включая внуков. Для меня слова, написанные Владимиром Высоцким: «Лучше гор могут быть только горы», на всю жизнь обрели особый смысл и значение.

Глава 7. Скрипка

После поражения немцев под Курском стало ясно, что в войне наступил переломный момент и что война близка к завершению. Об этом говорили все, включая нас мальчишек, об этом писал и папа в своих письмах – треуголках. Изменился общий настрой людей. И хотя по-прежнему приходилось стоять в очередях за хлебом, и по-прежнему было голодно, и хотя в семье не переставали приходить горестные вести о гибели близких людей, появилась надежда и твердая вера в победу.

После отъезда польских военных нашу школу передали советской воинской части, и очень скоро Кермине заполнилось солдатами – новобранцами и офицерами, командовавшими ими. Частыми стали воинские учения с применением противотанковых пушек и минометов. Предгорье, где проходили учения, потрясали залпы пушек, уханье минометов и стрельба из стрелкового оружия. Стреляли холостыми снарядами и минами. Мы с большим интересом наблюдали за этими учениями, посмеивались над солдатами – минометчиками, закрывавшими уши при стрельбе, спорили между собой, обсуждая причину того, почему пушка подпрыгивает после каждого выстрела, а миномет стоит недвижимо. Наибольшее внимание привлекал миномет, его принцип действия. Каждый из нас давал свое объяснение тому, как вылетает мина, опускаемая в трубу миномета, каким образом осуществляется прицеливание и благодаря чему, мина, выстреливаемая вверх и летящая по траектории дуги, попадает в цель. В ходе учений солдаты рыли окопы и ходы сообщений, так что в периоды, когда учения не проводились, этими окопами овладевали мы, проводя в окопах достаточно много времени, играя в войну. Среди своих сверстников я считался авторитетом по части знания войны. Я был единственным из них, кто испытал на себе бомбежки и пулеметные очереди фашистских летчиков, летящих на бреющем полете. Я видел разрушенные дома, искореженные рельсы и обугленные телеграфные столбы, я видел военную технику, пушки, танки самолеты, бронепоезд; наконец я много читал из истории войн, знал о сражениях первой мировой и гражданской войны, помнил рассказы отца о войне, так что кому, как не мне, было организовывать военные игры. У меня был штаб, где мы разрабатывали планы военных действий, была разведка, приносившая информацию о мнимом противнике, был даже ординарец, в функции которого входило, в частности, обеспечение штаба водой. К слову сказать, воду приходилось нести издалека – самая близкая к нам водоразборная колонка, где воду нужно было качать, располагалась на вокзале. В этих играх неизменно участвовал Фима и наша собачка – рыженькая веселая дворняжка Венерка, которую мы нашли как-то еще щенком и поместили у себя в сарайчике. Мы очень любили Венерку, она отвечала нам взаимностью, но особую любовь питала к маме. Она очень беспокоилась, когда мама уходила из дома, и могла часами ждать ее, лежа посреди пыльной улице под жарким солнцем, вглядываясь в дальний конец улицы, откуда могла появиться мама. При ее появлении она срывалась с места и молнией устремлялась к ней, всем своим видом выражая восторг и радость от встречи. Затем она принимала озабоченный вид и шествовала рядом с ней, как бы утверждая, что именно она и есть то существо, которое готово жизнь свою положить ради защиты своей хозяйки. Нас, детей, она воспринимала, как друзей, с которыми можно поиграть и побаловаться, но не более того. Серьезно она относилась только к маме. На посторонних либо не лаяла вообще, либо лаяла беззлобно. Не любила она нашего соседа – вечно угрюмого сутулого Абдуллу, несколько раз в день совершавшего намаз на пустыре и проходившего мимо нашей кибитки с медным чайником в руке для омовений. Венерка неизменно облаивала его, возможно оттого, что во время своего шествия он традиционно освобождал свой желудок от накопившихся в нем газов, которые вырывались наружу с таким звуком, который мог бы разбудить спящего. Не любила Венерка и скорпионов, при виде которых заливалась таким лаем, будто перед ней стояла ошетилившаяся кошка. Венерка всегда

сопровождала нас при походе в горы, где могла вволю отдаться обуревавшим ее чувствам. Она могла без устали гоняться за ящерицами или огромными кузнечиками с ярко раскрашенными крыльями, предупреждала нас о змеях, забавлялась с черепашками, которые при столкновении с ней втягивали в свой панцирь голову и лапки, бесстрашно бросалась на варанов, обращая их в бегство. Невероятно, но она обладала ощущением времени. В горах, где время бежит незаметно, она определенным образом указывала нам на необходимость возвращаться. Делала она это так: для начала она обращала на себя внимание громким и продолжительным лаем; затем, убедившись, что ее все видят, демонстративно поворачивалась в сторону дома и, сделав несколько шагов вниз, оборачивалась, словно приглашая нас за собой и словно проверяя, правильно ли ее поняли. Если мы не торопились спускаться, она вновь оглашала горы своим лаем, пока не добивалась желаемого результата. В военных играх Венерка исполняла роль связной – она передавала в «штаб» письменные сообщения «разведгруппы», выполнявшей спецзадание. Записка привязывалась к ошейнику и по команде «штаб» Венерка мчалась в окоп, где находилось «командование» «штаба». Достать записку она разрешала только мне. Любая попытка кого бы то ни было приласкать ее, ослабить ее внимание и, пользуясь этим, достать записку решительно пресекалась ею. Время от времени она исчезала из поля нашего зрения, и как оказалось впоследствии, ее исчезновение имело вполне определенное объяснение: она навещала маму, как бы проверяя, все ли в порядке дома. Играя с нами, она не забывала о своих, как ей, видимо, казалось, основных обязанностях охранять покой и безопасность мамы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.